

Юрий Дастовалов

Очертя ГОЛОВУ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Юрий Достовалов

Очертя голову

«Автор»

2026

Достовалов Ю. Н.

Очертя голову / Ю. Н. Достовалов — «Автор», 2026

В книге рассказывается о близких отношениях мужчины и женщины, судьбы которых исковерканы алкоголем. Он – бывший боевой офицер, она – несостоявшийся ученый, они и дальнейшую свою жизнь пустили на самотек, смалодушничили, поддались пагубному пристрастию. Поначалу это их окрыляет, кажется: все еще впереди, многое по силам. Но зеленый змий не щадит ни гения, ни бездарность, ни академика, ни обывателя...

© Достовалов Ю. Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Юрий Достовалов

Очертя голову

Глава

ЮРИЙ ДОСТОВАЛОВ ОЧЕРТЯ ГОЛОВУ

Роман

Из года в год легенда тянется –
легенда тянется из века в век,
что человек, мол, который пьяница, –
разувлекательнейший человек.

Владимир Маяковский

Всё, как обычно, повторялось в половине пятого утра. Словно по заведенному. Озноб, лихорадка, чуть повыше солнечного сплетения знакомая гнетущая тяжесть, к которой, однако, он за все эти годы так и не смог ни привыкнуть, ни мало-мальски приспособиться. В такие моменты он в холодном поту трясся под одеялом мелкой дрожью, потом накатывала жаркая, удушающая волна, он лихорадочно срывал одеяло, но тут же снова крохотные, острые колючки озноба вытягивали из него душу. Пробовал уснуть, но едва смыкал глаза, происходило и вовсе ужасное: внутри все начинало вертеться веретеном, дыхание захватывало, сердце замирало, и, чтобы не задохнуться, он спешил открыть глаза. А там его опять ждали озноб, холодный пот и неизбывная тяжесть в груди, от которой, казалось, не было спасения.

В каком-то мистическом ужасе он вскакивал с постели, бросался к серванту, выдёргивал ящик за ящиком, вышвыривал оттуда вату, бинты, пустые пластиковые флаконы в поисках непонятно куда впопыхах засунутого флакончика со снотворным. Проглотив две-три таблетки, запивал их крупными глотками отстоявшейся кипяченой воды, валился на кровать, натягивал на себя пропотевшее, вонючее одеяло, мучился еще несколько минут, терпеливо ожидая целительного успокоения, и, наконец, забывался тяжелым, дурманящим сном. Этот сон и впрямь походил на наркотик: после него ломало тело, накатывающая волнами тошнота несла с собой почти мистический ужас, еще и еще хотелось снотворного, чтобы снова уснуть и никогда больше не просыпаться...

Поначалу со снотворным были проблемы: купить его в аптеках было не так-то просто, везде требовали рецепт. Но выход нашелся на удивление быстро. Как-то раз он помог вселявшемуся в его подъезд пожилому новоселу выгрузить мебель из машины и перенести в его квартиру. Разговорились. Оказалось, что новосел – врач-невролог и устроился на работу в местную поликлинику. Доброволец почувствовал такой прилив радостного волнения, что тут же, в качестве платы за помощь, напрямик попросил у соседа рецепт на снотворное. Тот сначала удивился и посоветовал все-таки обследоваться, сдать анализы. Но услужливый помощник сослался на занятость и напряженный график работы, присочинил для пушей убедительности байку о круглосуточных дежурствах, исключаящих возможность прилечь хотя бы на минутку («Ценный объект охраняем, понимаете?»), и дело выгорело. Вытерев руки носовым платком, доктор вытащил из кейса бланк рецепта и крохотный круглый футлярчик с персональной врачебной печатью. Правда, взял с «охранника» обязательство непременно прийти к нему на прием и все-таки выяснить причину бессонницы. Тот согласно закивал, схватил рецепт и тут же забыл про соседа.

Того снотворного ему хватило на месяц, а когда последняя таблетка, подхваченная глотком воды, унеслась по пищеводу, он, повертев в руках пустой флакончик, вспомнил о враче.

Вот только на прием идти никак не хотелось. Набравшись смелости, он позвонил в знакомую квартиру. Ему открыла жена врача, сказала, что муж на работе, и поинтересовалась, чем может помочь. Он промямлил что-то невразумительное про бессонницу, про то, что закончилось снотворное, потоптался перед дверью, сказал, что зайдет позже, извинился и ушел.

А после полудня в его квартире раздался звонок. Он с недоумением открыл дверь и на пороге увидел врача. Приветливо поздоровавшись и заявив, что принес рецепт, гость выказал едва уловимое намерение зайти в квартиру. Выхода не было, приходилось впустить неожиданного гостя, хотя хозяину хотелось этого меньше всего. Если бы только предвидеть этот визит, разве бы оставил он в прихожей, прямо перед дверью, целую батарею чисто вымытых и приготовленных к сдаче зеленоватых бутылок! Уж как-нибудь перетерпел бы, чтобы не приговорить перед самым приходом доктора два литра свежайшего «Жигулевского» и не отрыгивать теперь в лицо гостю свежие пивные пары.

Доктор перешагнул порог, увидел бутылки и пристально посмотрел на хозяина, который, впрочем, никак не мог заметить этого взгляда, поскольку не смел глаз поднять, и переминался с ноги на ногу, как уличенный в пакости школьник. Заметить не мог, но чувствовал, что этот взгляд словно прожигает его, и готов был сквозь землю провалиться.

– Возьмите рецепт, – тихо проговорил доктор и протянул шелестящую бумажку.

Дрожащей рукой он принял рецепт и медленно поднял глаза на соседа. Врач смотрел на него укоризненно, и нашкодивший первоклассник снова потупил взгляд.

– Обязательно приходите ко мне на прием, – так же тихо сказал доктор. – Я уверен, что вам можно помочь, и я постараюсь это сделать. Обещаете?

Хозяин молча кивнул, не поднимая глаз и тиская в руках рецепт. Дорого бы он дал, чтобы избежать этого! Еще чего доброго, начнет читать нотации про здоровый образ жизни, советовать группы анонимных алкоголиков и прочую американскую лабудень. Скучно до тошноты. Будто он и впрямь законченный алкоголик!

Но вот чудеса – доктор вовсе не собирался ни в чем наставлять его. Наоборот, повел себя как-то уж вовсе непредсказуемо: положил руку ему на плечо, слегка пожал, несколько раз похлопал, а потом мягко так и говорит:

– У вас добрая, чуткая душа. Не губите себя. Мне искренне жаль хороших людей. Я хочу вам помочь. Приходите на прием, слышите?

Хозяин снова кивнул, а доктор перешагнул через порог и напоследок сказал:

– А снотворного не пейте больше одной таблетки за прием. Незачем привыкать. Я уверен, что скоро оно вам вообще не понадобится. Если, конечно, сами постараетесь помочь себе. Я работаю каждый день, с утра. Моя фамилия Лазутин. А ваша как?

– З-з-зачем? – от неожиданности вопроса хозяин вдруг стал заикаться.

– Я бы оставил вам талон на прием, а то попадете нескоро, – ответил Лазутин.

– Да я... пока что не спешу. Нет необходимости.

– Это вам так кажется, – возразил доктор. – Мне, как профессионалу, виднее, что вам нужна помощь. Так как ваша фамилия?

– Ну, Добряков.

– Вот и славно. Так когда сможете?

– Не знаю... Завтра нет... Послезавтра?.. Тоже не получится... Знаете что, – нашелся Добряков. – Вы мне оставьте свой телефончик, я вам позвоню, как освобожусь... А то знаете, работы много...

– Ну, хорошо, – гость ехидненько, как показалось хозяину, покосился на бутылки. – Работой пренебрегать точно не следует. Запишете?

– Да-да, – спохватился Добряков и взял с телефонной полочки блокнот и ручку. Записав номер доктора, он еще раз подтвердил: – Обязательно позвоню, вот закончу дела...

– Не тяните долго, не в ваших интересах, – посоветовал Лазутин и мягко притворил за собой дверь.

– Лазутин, Лазутин, милый, добрый Лазутин, – напевая под нос, Добряков кинулся на кухню, достал из холодильника еще одну запотевшую бутылку, откупорил ее и прямо из горлышка, с наслаждением влил в горло. Крякнул, выдохнул пары и, расплывшись в улыбке, еще раз пропел:

– Лазутин, милый мой Лазутин...

Поглядел на блокнот с записанным номером и добавил:

– Хороший ты человек, Лазутин. Но на прием к тебе я, конечно, не приду.

И впрямь, зачем было идти? Жить стало веселее. В холодильнике его дожидались еще несколько бутылок пива, на руках был рецепт, по которому можно было купить спасительное средство от бессонницы. А если еще удастся сегодня отвезти посуду в пункт приема и сдать – глядишь, еще лишняя тысчонка появится в кармане. Купить снотворное и с десяток бутылок. Добряков прикинул, подсчитал. Хватит!

В тот же вечер он крепко напился и мертвецки заснул около полуночи. Но в половине пятого, как по будильнику, проснулся от знакомой боли в груди. На этот раз пугаться было нечего. Он прошел на кухню, откупорил флакончик со снотворным и проглотил три таблетки. Потом осушил поллитру пива и снова завалился спать.

* * *

Снотворного хватило недели на три. Все это время Добряков с ужасом глядел на постепенно пустевший флакончик и боялся подумать о неминуемом и недалеком будущем. На прием он, конечно, не пойдет. Хотя бы потому, что знает: никакого снотворного Лазутин больше ему не пропишет, а начнет пичкать лекарствами, а то чего доброго посоветует лечь в наркологическую больницу.

Ну, уж нет! Добряков там уже бывал, и нового желанья пока что не появлялось. Конечно, там хорошо: тихо, спокойно, кормят неплохо, после трех дней лечения пить уже не тянет. Но все равно это не дома. Это выход для тех, кому деваться некуда, ни кола, ни двора. Повидал там Добряков таких – пропивших квартиры, промотавших все деньги, ночующих под заборами и на стройках. Эти, понятное дело, за счастье сочтут провести полтора месяца на халяву, на всем готовом. А ему зачем туда? У него квартира. Своя, отдельная. Работы пусть пока нет, но ведь когда-нибудь она появится, не может не появиться!

«Так что извините, доктор, – злорадно подумал Добряков, – но я не ваш пациент, тут вы ошиблись! Крупно ошиблись!»

И вот снотворное кончилось. Он проснулся около полудня, опохмелился и стал собирать бутылки. Сложил сорок семь штук в огромную «челночную» сумку, переложил их тряпьем, чтобы не звенели дорогой и застегнул «молнию». Ехать до пункта приема нужно было с полчаса, а чтобы не тосковать в дороге, он налил в пластиковую бутылку из-под кваса пол-литра пива. На этот случай у него имелось несколько таких темных бутылочек. Отвинчиваешь в автобусе пробку, не спеша потягиваешь пивко... Хорошо! И на взгляд других никакое это не пиво, а самый настоящий «Очаковский» квас, который любит и пьет, почитай, весь город. Так что и людей не стыдно, и самому удовольствие.

Когда автобус подошел к конченной остановке в глухом частном секторе возле железнодорожной платформы, бутылочка, как полагается, была пуста. Добряков бережно завинтил крышку, сунул пластик в карман и выволок сумку из автобуса. Осмотрелся. Так, все в порядке. Работают. И поспешил к покосившемуся вагончику, где бывший алкоголик Порфирийч, глубокий старик в засаленном пиджаке и с неизменной потухшей папироской в зубах, сосредоточенно пересчитывал бутылки и тыкал грязным пальцем с обгрызенным ногтем в потертый

калькулятор. Потом, вынув из-за пазухи толстую пачку бумажек, старик отсчитал, сколько положено, и протянул деньги пожилому потрепанному мужику.

«Бывшим» Порфирьича называли не только за глаза. Он и сам откровенно признавался каждому, что прежде, еще лет десять назад, ужасно и запойно пил, но потом вдруг как-то враз сумел завязать и с тех пор, по его словам, не брал в рот ни капли. Даже по праздникам. Говорил он это охотно, каждому клиенту, словно ждал: а не попросит ли кто-нибудь рассказать об этом его секрете. И тогда, конечно, он подробно и обстоятельно, с доскональным описанием конкретных случаев и тончайших нюансов симптоматики, сердобольно расскажет о своем личном опыте. Текст этой лекции давно был им сочинен, нацарапан на тетрадном листочке и заучен наизусть. Более того, на разные случаи жизни в голове Порфирьича хранилось несколько вариантов лекции – для запойных, пропавших алкашей, для начинающих, для решивших завязать. Но главным коньком каждой лекции, ее сутью и квинтэссенцией была финальная ее фраза: «Алконавты не наследуют царствия Божия!» Где, когда он услышал эту фразу – было, наверное, неизвестно даже ему самому, однако убийственность и неоспоримость ее, да еще после такой содержательной лекции, должна была, он не сомневался, у любого окончательно отбить пристрастие к бутылке. Но, на беду Порфирьича, таких заинтересованных слушателей среди сдающих тару почему-то не находилось, и старик каждый раз, поглядев в глаза очередному клиенту или клиентке, увидев их потухшие взгляды и трясущиеся руки, с грустью наблюдал, как люди алчно пересчитывают деньги, попутно производя несложный арифметический расчет, и удрученно вздыхал: «Не наследуют, не наследуют...»

Еще издали завидев знакомого мужчину, своего давнего и постоянного клиента, Порфирьич приветливо помахал рукой и заведомо приготовил большой пустой ящик, поставив его перед собой. Добряков опустил сумку перед стариком и выдохнул:

– Здорово, Порфирьич!

– Привет, – кивнул старик. – Сосчитаем? – и принялся вынимать из сумки изумрудно сверкающие на ярком солнце бутылки.

– Ты верен себе, – осклабился Порфирьич, составив бутылки в ящик. – Берешь по-крупному. А то приносят по три, по четыре штуки, не успевают получить гроши, как тут же бегут пропивать их. Эх, хороши наследнички, – опять вспомнил старик свою несостоявшуюся лекцию. – Не наследуют они, понимаешь, не наследуют...

– Слышь, Порфирьич, ты того... давай после поговорим, – отказываясь понимать приемщика, перебил его Добряков: воздействие алкоголя проходило, к груди подступало знакомая тяжесть. – Ты дай мне бабло, а поговорим потом. Я вот до киоска добегу, – ткнул он рукой в сторону, – вернусь, и поговорим.

– А послушаешь меня? – взыграла в старике надежда.

– Послушаю, – нетерпеливо отмахнулся Добряков, – куда ж я без тебя?

– Ну, смотри, вертайся. Я по секрету тебе одному такое расскажу... Никому не довелось говорить, а тебе, так и быть, расскажу. Уж очень жалко мне тебя...

«И этот жалеть взялся!» – чертыхнулся Добряков, пересчитал деньги и, свернув за угол, зашагал к пивному ларьку, где постоянно слонялись завсегдатаи порфирьичевой приемки. Кивнув двум-трем знакомым, он встал в очередь, а когда она подошла, попросил две бутылки холодненького. До дома хватит.

«Ах, да, Порфирьич же навязался!» – вспомнил Добряков. Обижать деда не хотелось, и он и купил еще одну бутылку. Свернул сумку, запихал ее в карман, две бутылки зажал в левой подмышке, а третью, вынув зажигалку, откупорил сноровистым, заученным движением. Опрокинув на ходу пол-литра и заметно взбодрившись, он вернулся к старику. Дед уже поджидал его. Обмахнул запыхавшуюся лавочку грязным полотенцем, уселся с одного конца, жестом приглашая Добрякова присоседиться. Тот плюхнулся на скамью, откупорил вторую бутылку, глотнул из горлышка, сладко отрыгнул и, закурив, бросил:

– Ну, чего там у тебя, Порфирьич?

– У тебя время-то есть? – мягко поинтересовался старик.

– Да есть пока.

– Вот скажи мне, зачем ты выпиваешь? – осторожно, издали завел старик.

Добряков даже поперхнулся, окатив Порфирьича кислой пеной.

– Ну, ты даешь, дед! – усмехнулся он: алкоголь живительно растекся по сосудам, в голове прояснилось, тянуло общаться. – А сам-то зачем всю жизнь пил? Ведь бросил-то без году неделя...

– Не неделя, не неделя, что ты! – испуганно замахал руками Порфирьич. – Счет веду точный, струпулезный, как говорится! В прошлом месяце минуло одиннадцать лет, как в рот не беру.

– Сам ты «струпулезный»! – захохотал Добряков и похлопал деда по плечу. – Вон, весь опаршивел, на человека не похож!

– Много ты понимаешь! Не похож! – тоскливо передразнил Порфирьич, понимая, что лекция, видимо, опять не состоится. – Видел бы ты, на кого я в свое время ходил, когда пил, как ты вот теперь.

– Ты, Порфирьич, в мою душу не лезь, ладно? – зыркнул Добряков. – Если имеешь сказать по существу – говори. А судей мне не надо. Не на страшном суде пока.

– Вот-вот, – приободрился старик. – О Страшном суде это ты правильно сказал. На нем и решится, кому войти в царствие Божие, кому нет...

– Да ты что хрень какую-то несешь? – Добряков не на шутку начинал выходить из себя. – Может, выпьешь лучше, прояснишь мозги? – он протянул старику ополовиненную бутылку. – Мало, так еще схожу.

Старик презрительно осклабился.

– Царствие Божие усилием нудится, – продолжал он лепетать невнятное.

– Ты случайно, не баптист, а, дед? – Добряков смотрел на него уже совсем квадратными глазами. – Что мне твое небесное царство, когда я в земном обитаю? Мне и тут совсем неплохо!

Порфирьич молчал, опустив глаза. Добряков понимал, что обидел старика. Чего-чего, а этого он вовсе не хотел. Желая смягчить ситуацию, он легонько толкнул Порфирьича под локоть и сказал:

– Ладно, дед, не сердись. Я ведь не со зла, ты меня знаешь. Ты мне лучше вот что скажи, опыт-то питейного дела у тебя, я вижу, немалый.

Порфирьич снова встрепенулся и поднял глаза.

– Да-да? – заискивающие посмотрел он на Добрякова.

– Скажи мне, – продолжал тот. – Вот ты прошел огонь, воду и медные трубы. Наверняка выпил Атлантический океан...

– Про Атлантический не знаю, – перебил старик, – а вот Ледовитый точно выпил. Потому как всегда пил холодненькую, запотевшую.

– Ну ладно, Ледовитый так Ледовитый. Тоже неплохо. Так вот скажи мне, дед, ведь наверняка есть какие-то способы, чтобы похмелье не было таким ядреным, противным?

– Есть, знамо дело, есть, – кивнул старик, воодушевленный надеждой хоть как-то помочь страждущему. – Но тут ведь, как говорится, клин клинышком.

– Чего? – не понял Добряков.

– Зелье – зельем, говорю. То исть, от чего хвораю, тем и лечусь.

– А, это ты про это вот, – Добряков покачал бутылкой с остатками пены на дне. Допил и отшвырнул бутылку подальше в кусты. – Это даже не похмелье, это поправка скорее. Так, чтобы в норме быть. А я про настоящее похмелье – с раннего утра, когда спать не можешь, когда ворочаешься на липкой простыни... Хоть повеситься... Знакомо?

Вместо ответа Порфирьич пристально посмотрел Добрякову в глаза.

– Хорошо, что тебе пока только это знакомо, – сочувственно произнес он. – А чертиков белых под столом никогда не видел? А свиных рыл на потолке? А змей кусачих да чудищ рогатых в своей постели?

Добрякова передернуло.

– В постели не видал, – поежился он. – И такое бывает?

– Еще как бывает, – старик помолчал и еще раз пристально посмотрел на Добрякова. – Так что же, бросать не думаешь? – спросил негромко.

– Нет, отец, пока не думаю. Не все свое, видать, выпил, – усмехнулся Добряков. – Расскажи лучше, как это – «клин клином»?

– А чо пьешь, тем и лечись, – ответил старик. – Пиво, вижу, хлещешь?

Добряков кивнул, напряженно глядя в глаза Порфирияча.

– Ну вот, значит, пивом и лечись, а никак не водкой там или коньяком. Когда с утра, как ты говоришь, накатывает на тебя менжа эта проклятая (я эту тяжесть менжой всегда называл), побереги на этот случай литр пивка холодного и пачку курева. Выпивай полбутылки и сразу закуривай. Выкури сигарету, посиди, чтобы все внутрь провалилось. Через несколько минуток, когда поймешь, что пиво принялось, опять закури. И каждую затяжку чередуй с глотком пива – таким макаром две поллитры и добьешь. Посиди пару минут и еще закури. Третью. Накурись так, чтоб тошнило, а пивко – оно тебе в том поможет. Рыгать потянет, только не вздумай рыгать. Перетерпи. Проглоти. Дай устояться. Как устоится все, уляжется – иди спать, мил дружок. Даю гарантию – проспешь, как убитый, еще часа четыре. Ну а там уж от организма твоего зависит, каким проснёси. Крепкий – значит, всё в порядке. Ну а нет – так на то и суда нет, самого себя вини. Захочешь выйти из запоя – каждый день уменьшай похмельную дозу: сперва полторы бутылки выпивай, потом одну, всё меньше и меньше. Авось да выйдешь. А коли вовсе бросать надумает – приходи, я пока тут.

– Ну, спасибо, Порфирияч, – приободрился Добряков. Он поднялся, откупорил последнюю бутылку и припал ртом к горлышку. Выпил полбутылки, кисло посмотрел на остаток, покосился на кусты – хотел было выбросить. Однако передумал, аккуратно перелил всё в пластиковую бутылку, упрятал ее в потайной карман и, пожав старику руку, направился к автобусной остановке.

«Чтоб в дороге не скучать», – подумал он.

А Порфирияч, глядя ему вслед, вовсе не о лекции своей несостоявшейся думал. Впервые думал не о ней.

«Не пришла пора, видать, – думал он. – А жаль: хороший человек, не безнадежный. Ну, ничто, придет ему срок, ой как быстро придет...»

Выйдя из автобуса, Добряков забросил пустую пластиковую бутылку в кусты возле остановки (дома таких емкостей девать некуда, к тому же карманы сейчас понадобятся для другого) и бодро зашагал в универсам. Нужно было подзаправиться: впереди долгий день, а если не подпитывать бултыхающуюся в нутре дозу, он шибко долгим и тоскливым покажется.

На полученные со сданной тары деньги набрал десять бутылок пива. Поначалу, когда толкался в торговом зале, думал взять, как прежде, «Жигули», а потом призадумался и решил шикануть по полной. Денег вполне хватало, прикинул он, чтобы взять, например, двенадцать бутылок «Сибирской короны» или семь поллитровок «Heineken». Постоял, помялся, решил было купить «иномарку», как любил выражаться. Однако в этом случае отдать придется в аккурат все, что получил у Порфирияча, а между тем нужно купить сигарет и чипсов под пивко. Пришлось обойтись десятью бутылками «Сибирской короны». Истекая слюной от предвкушаемого пира, Добряков примостился в очередь и стал дожидаться счастливого момента, когда выйдет на улицу, вытащит из кармана зажигалку и тут же, у крыльца, привычным движением сорвет пробку с запотевшей бутылки.

Очередь продвигалась медленно, малейшая заминка на кассе выводила его из себя. Время близилось к обеду, а он с самого утра употребил только пару литров.

«Того и гляди, трезвенником станешь», – раздраженно подумал он.

Но вот товар просканирован, деньги вручены кассиру, несколько монеток сдачи утонули в кармане, следом за ними Добряков отправил по две бутылки в оба кармана, а оставшиеся шесть ухватил в обе «клешни», как называл специальный захват пальцами, позволявший нести в одной руке несколько бутылок, и вышел из магазина.

Поставил бутылки на асфальт, одну из них откупорил и жадно припал к горлышку. Опрокинул половину, проглотил, выдохнул. Хорошо пошло! Закурил. Помечтал о будущем – оно теперь рисовалось ему светлым и радужным, как вот эта отливающая всеми цветами ажурная пивная пена.

– Здорово, – кто-то хлопнул его сзади по спине.

Добряков обернулся – Рюмин. Его сосед по лестничной площадке, Рюмин был на три года старше его, но выглядел не в пример блекло: землистый цвет лица, без передних зубов в вонючем рту, из которого разило, как из душной бочки, с застаревшим фингалом под левым полузаплавленным глазом и с отвратительной гноеточивой сыпью на лбу, пигмейского росточка да и вообще убогий какой-то.

– Ну, здорово, – проворчал Добряков. Он не любил Рюмина за его назойливость, за постоянные поползновения подмазаться, набиться в друзья.

– Слышь, – льстиво подъезжал сосед, – не угостишь глоточком? С утра сгораю...

– С утра? – удивился Добряков. – Так уж давно сгореть пора.

– На тебя вся надежда, – будто не слышал Рюмин.

– Ну чего пристал? – злобно наехал Добряков. – Иль не знаешь, что я не работаю, что на инвалидности я?

– Так ить я тоже не работаю, – испуганно съежился сосед. – Могли бы того... друг другу помогать...

– В чем помогать-то? – расхохотался Добряков. – Помогать пиво мое хлестать?

– Эх ведь ты какой! – Рюмин опасливо отступил в сторону. – Никогда не был человеком. По-человечески попросил помочь, а ты...

– А ты знаешь, что задавать вопросы и пердеть – проще, чем отвечать и нюхать? – и Добряков угрожающе надвинулся на соседа.

– Ну ладно ты, ладно, я ведь ничего... – Рюмин даже отпрыгнул подальше от сурового соседа, укоризненно покачал головой и зашагал прочь, сокрушенно махнув рукой.

Добряков допил пиво, сунул пустую бутылку в урну, прихватил остальные с асфальта и направился домой.

«Может, зря я с ним так? – подумал он. – Да нет, ничего не зря! Работать не хочет, а у инвалида просит!»

Придя домой, Добряков развалился на диване на кухне. Одну бутылку он поставил на стол, остальные восемь убрал в холодильник.

Было десятый час вечера часа, когда, выкурив полторы пачки сигарет и выпив девять бутылок, Добряков поднялся с дивана, пошатываясь, прошагал в туалет, справил нужду и хотел было отправиться спать, но вдруг остановился посреди прихожей и задумался. В холодильнике оставалась еще одна бутылка, она-то и вспомнилась ему и не давала покоя. Он совершенно не думал о том, что случится, что непременно произойдет в половине пятого утра и как он с этим будет справляться без снотворного и без тех спасительных двух литров, рекомендованных ему Порфиричем. Другая мысль сейчас завладела его тускнеющим сознанием – осталась еще одна бутылка, которая должна быть выпита!

Запнувшись за угол паласа и едва не влетев головой в холодильник, он кое-как устоял на ногах и распахнул дверцу. Вот она! Вот это сейчас самое главное! А там... А там будь что будет – и золотистая жидкость, как в воронку, устремилась в горло и бесследно исчезла.

Он уже не помнил, как добрел до кровати, как, завалившись на правый бок и пробуя накрыться, смог укутать только ступни, как простонал перед тем, как впасть в тяжелое забытие.

Жизнь Добрякова, не настолько богатая событиями, чтобы занять много времени, не уместится, однако, в несколько фраз, даже если постараться спрессовать основное и отцедить второстепенное. Думается, одной главы будет все же достаточно. Следовательно, у нас есть те несколько часов, что отделяют его тревожный сон от кошмарного пробуждения, которое непременно наступит и будет, как всякое очередное похмелье, ужаснее предыдущего. Итак, пока он спит, не станем терять времени.

Наследственных причин приверженности Добрякова к Бахусу в жизни нашего героя вроде бы не обнаруживается. Никто из его предков не страдал этим пристрастием откровенно, хотя случалось, конечно, всякое. Его покойный дед, например, был не прочь выпить, но в то же время запоями не страдал и до самой пенсии исправно и похвально работал главным бухгалтером в совхозе.

Добрякову было тринадцать лет, когда погибли дед и бабушка – вместе, в один день и час. Это было 23 февраля. Днем мальчик пришел в крохотную избу на окраине села поздравить дедушку с Днем Советской Армии и запомнил, что дед был трезв и приветлив, а бабушка угостила внука вкусным тортом, каких потом во всю свою жизнь он никогда не едал. Секрет этих тортов был в их приготовлении. Как позже узнал Добряков, бабушка каким-то особенным, ей одной известным способом, выпекала коржи в русской печи, потом долго томила их в сладком сиропе, а уж затем складывала в торт, прослаивая их вкуснейшим кремом, также приготовленным по уникальному рецепту.

Так вот, поздравив в тот день деда, поблагодарив бабушку, мальчик отправился домой, не зная, что видел их живыми в последний раз.

Среди ночи его разбудили громкие голоса родителей. Мама в пальто подошла к его кровати.

– Оставайся пока с тетей Фисой. Бабушка и дедушка умерли, – сказала она в спешке.

И ушла. В комнату вошла соседка тетя Анфиса (Фиса, как называли ее родители и сам мальчик) и присела на край его кровати.

– Ты успокойся, – погладила она его по голове. – Все умирают, бояться не надо. Ты ведь не боишься?

– Нет, – тихо ответил мальчик Добряков и, наверное, не слукавил: это была первая смерть в его жизни, и он еще хорошенько не знал, что она собой представляет.

– Ну и прекрасно, – улыбнулась тетя Анфиса. – Я побуду с тобой. Спи, еще ночь, – и накрыла его до подбородка одеялом.

Он повернулся к стене и действительно скоро уснул. А во сне увидел деда и бабушку, которые пекли большой вкусный торт в печи. Потом дед сноровисто взгромоздился на огромный корж, бабушка подхватила ухватом корж вместе с дедом и сунула в печь. Дед улыбнулся и сказал: «Я умер». Потом на корж села бабушка, ухват сам взвился в воздух, поддел тесто и сидящую на нем старушку и отправил вслед за дедом. Добряков услышал бабушкин веселый голос: «И я умерла», а чья-то невидимая рука взяла черную заслонку и закрыла ею пылающий очаг.

Проснувшись, Добряков понял, что сон был навеян любимой его сказкой про Жихарку, которую часто рассказывала ему бабушка. У деда с бабушкой жил внучок Жихарка – озорной, шутливый, неугомонный. Ушли как-то старик со старухой в лес, а Жихарку одного оставили,

наказав, чтобы сидел дома и никуда не выходил. Но едва ушли, Жихарка прыг-скок на полянку и столкнулся нос к носу со страшным Бабайкой. Бабайка улестил мальчонку и пригласил в дом. А там предложил растопить печь и поиграть в калачики. Жихарка спросил, что это за игра такая, а Бабайка ответил, что ребенок, мол, садится на лопату, и его суют в печь, где он превращается в симпатичный, румяный калачик. Ну, раз так, уселся Жихарка на лопату, руки-ноги растопырил и ждет. А Бабайка ворчит: «Да кто же так на лопату-то садится?» Жихарка уже тогда начал смекать, что к чему, но прикинулся простачком и говорит: «Да не знаю я, как садиться, покажи!» Бабайка подивился бестолковости ребенка и решил показать. Уселся на лопату, руки сложил, ноги сплел, хвост поджал. А Жихарка не будь дураком – вжик его в печь! И заслонку закрыл. Бабушка, заканчивая сказку, всегда говорила: «И Бабайка умер». Наверное, именно так умерли минувшей ночью и дед с бабушкой.

Однако все было не так розово, как представлялось ребенку. Родители вскоре выяснили, что дед после ухода внука попросил бабушку выставить на стол литровую бутылку домашнего самогона, который в те времена в редких семьях не водился в подвалах да в схронах. Приговорив емкость, поспал немного, к вечеру проснулся и потребовал еще литр. Ну, в честь праздника бабушка не возражала. Истопила печь углем, накормила мужа, а пока он праздновал на кухне, прилегла в соседней комнате и задремала. Станный шум разбудил ее. Она выбежала на кухню и увидела, что супруг лежит возле табурета, на котором частенько курил у печки. Из рта старика шла густая кровавая пена, его глаза закатились, он едва дышал. Бабушка испугалась, выбежала на улицу и стала звать на помощь. Покричала с минуту, вернулась в избу и стала суетиться над дедом, стараясь привести его в чувство. Однако ничем не помогла ему, наоборот, вскоре тоже легла рядом. Прибежавшие на крик соседи застали на полу два трупа.

Как выяснилось, дед до того напраздновался самогонкой, что потерял всякое чувство реальности. Сидя у печки с папиросой, он вдруг зачем-то вздумал задвинуть вьюшку¹. Может, почувствовал холод из трубы, может, захотел больше тепла в избе сохранить, – однако сделал это раньше положенного. Скопившийся в избе угарный газ убил его через пятнадцать минут. Если бы бабушка, выбежав звать на помощь, не возвращалась в избу, а побыла на морозце, ее миновала бы такая страшная смерть...

Первые в его жизни похороны запомнились Добрякову навсегда. Морозный день, искрящиеся на ярком молодом солнце игольчатые снежинки, грай галок в поднебесье. И два гроба, в которых лежат такие знакомые, но почему-то удивительно не похожие на живых бабушка и дедушка.

Отец его, главный механик колхоза, был по деревенским меркам человеком образованным – окончил техникум механизации, любил читать и собрал неплохую, несмотря на тогдашний книжный дефицит, домашнюю библиотеку.

И тем не менее ни один красный день календаря не встречал без бутылки. Уточняем: не только праздники (тут уж, как говорится, сам Бог попускает), но каждое или почти каждое воскресенье пребывал навеселе. Мать, простая доярка, украдкой вздыхала, но открыто перечить мужу не смела – очень уж уважала его и полагала, что образованному человеку такие слабости иногда позволительны. «Иногда» подразумевало по меньшей мере еженедельно. Но ведь не запойный же он в конце концов, зарплату исправно приносит в дом.

Выпив, отец становился говорлив, чем никогда не страдал, будучи трезвым. Щуря осоловевшие глаза на супругу и напустив на себя степенный, как ему казалось, вид, он поднимался из-за стола, подходил к книжному шкафу и осторожно, благоговейно открывал дребезжащую слабо закрепленным стеклом дверцу, вынимал первую попавшуюся книгу, проводил пальцем по языку и начинал листать страницы и зачитывать матери самые «вдохновенные», как он выражался, эпизоды. Особенно любил и знал едва ли не наизусть сцену гибели Аксиньи из

¹ Чугунная перегородка в печной трубе для прекращения тяги воздуха.

«Тихого Дона». Перед чтением не забывал напомнить, что это «великая книга». По мере чтения голос его срывался с патетических высот, становился сдавленным, приглушенным, и через минуту отец уже не читал, а рыдал над раскрытой страницей. Сыну в те годы казалось, что, открой он книгу на этом эпизоде, наверняка увидит изъеденные слезами буквы и размытые, пожелтевшие страницы великой книги. Мать слушала некоторое время, потом слабо отмахивалась и, проронив: «Не ты это плачешь, Павел, алкоголь в тебе плачет», медленно уходила на кухню. Дела там не переводились никогда. А отец, прижав сына к себе и глядя его по голове, тряс перед ним раскрытой книгой и всхлипывал:

– Но ты, хоть ты-то понимаешь?

Добряков-младший согласно кивал головой и, подождя, пока отец успокоится, осторожно высвободился из его объятий и спешил к матери на кухню. А отец долго еще возился у книжного шкафа, в который раз том за томом пролистывая всю эпопею кучерявого донского классика.

Вообще надо сказать, что этот книжный шкаф был гордостью отца: на его покупку не было потрачено ни копейки из зарплаты. Перебирая однажды кладовку, отец заметил, что в ней скопилось столько старых газет, что можно использовать их с определенной выгодой. Они с сыном выволокли из чулана большие старые сани, представлявшие собой огромное старое корыто, закрепленное на широких охотничьих лыжах, загрузили их с верхом, перевязали шпагатом и направились к пункту приема вторсырья. Получив за первую партию приличные деньги, отец приободрился: дома оставались еще полтора десятка таких кип. И два дня с утра до вечера Добряков-младший волочил тяжеленную для десятилетнего ребенка поклажу по проложенному маршруту. Проваливаясь в подтаявший снег, мальчик упорно тянул сани, терпеливо дожидаясь, когда отец отблагодарит его за недетские муки. И впрямь удостоился за свое усердие двадцати копеек на шоколадку «Аленка».

Вскоре после этого отец взял на работе отгул, завел колхозный грузовик и уехал в райцентр, сказав матери, что вернется не поздно: до города было всего пятнадцать километров. На все вопросы жены только отмахивался с хитрой улыбочкой.

– Увидишь, – бросил он. – Это будет сюрприз.

Сюрприз так сюрприз, и мать, проводив сына в школу, ушла на ферму. Взять, как муж, отгул, чтобы прокатиться в город, она не могла: от величины надоев зависела ее квартальная премия.

Вернулся отец и впрямь на удивление быстро. Мальчик, отсидев три урока, едва вошел в дом, как за окном просигналил остановившийся у двора грузовик. Сын припал к стеклу – так и есть, отец. Мальчик накинул на плечи старое пальто и выбежал навстречу родителю. Улыбаясь во весь рот, тот размахисто шагал в дом. Скинув телогрейку, он позвонил в гараж и вызвал двух шоферов. Те быстро явились и за несколько минут перенесли из машины в большую комнату огромный трехстворчатый книжный шкаф и установили его в красном углу, чтобы, как пояснил отец, еще с порога были видны эти «врата учености».

Потом он переоделся, наскоро перекусил и попросил сына помогать ему.

– Теперь мама вздохнет с облегчением, – улыбнулся отец, и работа закипела.

Дело в том, что с недавних пор кипы книг, копившихся под кроватью в спальне, на шифоньере в прихожей, на подоконниках во всех комнатах, стали причинять матери нешуточную головную боль. Куда бы она ни ткнулась по хозяйственным нуждам, всюду ее подстерегали книги. Захочет окно помыть – тут тебе многотомный Ленин. Ну как над вождем тряпкой трести? Задумает пол протереть под кроватью – наткнется шваброй на Большую медицинскую энциклопедию. Однако открыто не возмущалась, а осторожно так, издали наезжала:

– Паша, а зачем нам эта медицинская энциклопедия? Ты что, врач?

– Я не врач, конечно, – стойко парировал отец. – А вот он (кивок в сторону сына), возможно, будет врачом. Будешь ведь? – обращался он к мальчику, словно искал у него поддержки.

Добряков-младший, второпях разделяваясь с котлетой, меньше всего думал о своем будущем, но чтобы помочь отцу достойно выйти из спора, громогласно соглашался. По правде говоря, сын еще не задумывался над тем, кем станет. Ведь на улице пригревало мартовское солнце, и на стадионе его наверняка ждали одноклассники.

Но расставить тогда книги в купленном шкафу он все-таки помог. Сосредоточенно выволакивая толстые тома из-под кровати, смахивая с них пыль, мальчик непритворно хотел сделать матери приятное. Он представлял, как она вернется с работы, замученная, уставшая, и вдруг увидит, что в доме чисто, уютно и красиво. Он очень любил мать и старался на совесть. Подносил тяжелые стопки отцу, а тот расставлял их на полках в соответствии с востребованностью. Серьезную литературу, как он называл энциклопедии и справочники, ставил повыше, понимая, что сыну еще далеко до научной премудрости, а советскую классику – пониже, в ближние к дверцам ряды. В результате за стеклами шкафа впритирку друг к другу уместились полные собрания сочинений Шолохова, Серафимовича, Твардовского, Константина Симонова и Шарафа Рашидова.

– Пап, а где те... ну, восточные сказки? – спросил сын, не находя в ближних рядах симпатичные желто-золотистые томики.

– Да это... неинтересно, – растерявшись от неожиданного вопроса, отец не сразу нашелся с ответом, а сыну в тот момент прочно запало в сознание: значит, там что-то такое, что не позволяют читать детям.

И действительно, несколько лет спустя подросток Добряков, оставшись дома один (а его комнатой была именно комната с книгами), отыскал в задних рядах шкафа заветные томики, раскрыл один из них наудачу, пролистал и задохнулся от неведомого доселе чувства. Кровь бросилась в голову, а его мужское отличие, этот доселе смирный «петушишко», как, в детстве купая сына в тазу, натирая губкой и поочередно перечисляя все части тела, называла этот орган мать, – сейчас, стало быть, этот смиреняга вдруг не на шутку расшалился, запульсировал, заелозил в оказавшихся тесными трусах, и рука подростка невольно потянулась к нему. Дальнейшее произошло само собой и доставило ему неслыханное наслаждение. То, что из него вышло при этом, напомнило ему обрат² и повергло в легкую оторопь. Он вспомнил бабушку-покойницу, когда она, будто волшебница, долго и сосредоточенно колдовала над диковинным жужжащим аппаратом, прежде чем из него выходило уже не молоко, а два совершенно новых вещества – одно густое и сочно-белое, другое – пожиже и помутнее. Произошедшее с ним было столь же таинственно и загадочно, и с тех пор, предаваясь сладкому интимному досугу, Добряков называл своего дружка исключительно «сепаратором», только вливал в него не молоко, а свои буйные интимные фантазии, подпитанные извлеченным из отцовского шкафа чудодейственным томиком «Сказок тысячи и одной ночи». Именно тогда впервые Добряков осознал, что книга – великая вещь...

Но все это случилось несколькими годами позже, а тот день, расставив с отцом книги в новом шкафу, он вымел мусор из-под родительской кровати, смахнул пыль с шифоньера, вымыл полы и, отдышавшись, горделиво полюбовался на проделанную работу. К приходу матери все было готово!

– Молодец! – похвалил отец и добавил, указывая на полки с книгами: – Эту энциклопедию я специально поставил на виду. Бери, читай. Специально для тебя купил. Хочу, чтобы ты стал офицером. Прочитаешь?

– Прочитаю, – кивнул сын.

² Обрат – один из продуктов сепарирования молока (другой продукт – сливки).

– Да нет, ты лениво как-то, – настаивал отец. – А ты твердо скажи, по-мужски. Обещаешь?

– Обещаю, – глядя отцу в глаза, ответил сын.

– Ну вот, верю, – успокоился отец. – Я ведь и сам когда-то хотел выучиться на офицера, со школы мечтал в военное училище поступить. Но призвали в армию, потом ты родился... Пришлось техникумом удовольствоваться. Заочным...

Энциклопедия, о которой говорил отец, была «Книгой будущих командиров». Новое желание отца было, по-видимому, окончательным, поскольку разговоров о других профессиях он больше не заводил. С тех пор сын стал чувствовать себя виноватым перед отцом – за то, что своим рождением помешал ему выучиться на офицера. Поставленная на виду книга взывала к прочтению, а ее золотисто-красный корешок несколько лет укоризненно взирал на подростка, прежде чем он решился раскрыть ее. А когда раскрыл – проглотил за два дня, читая запоем, наплевав на домашние задания и нахватав «двойки» по трем предметам.

За полгода перед этим он отыскал в отцовском шкафу, как мы говорили, арабские сказки, однако новое увлечение на несколько дней отвлекло его от прежнего. Но вот, дочитав «Книгу будущих командиров», он вдруг снова ощутил потребность пережить незабываемые ощущения и выдвинул ящик своего письменного стола, в глубине которого укромно схоронился один томик чудодейственных сказок. Он раскрыл его и с удивлением отметил, что ежедневно, в течение года листаемая книга на этот раз совсем не вдохновляет его. Он тогда еще не признавал, что книги могут надоедать и досаждают, как старые, заигранные пластинки, однако вывод сделал верный. Открыл шкаф, вынул книги ближнего ряда, освобождая путь к восьмитомнику сказок, просунул ладонь в открывшуюся лазейку – и обмер от неожиданности. Вместо книги его рука наткнулась на что-то твердое и гладкое. Ощупав препятствие, но, так и не определив, что это за предмет, он вытащил одну за другой соседние книги и только тогда увидел то, что стояло на месте извлеченного тома. Это была плоская бутылка темно-красного стекла, с золотисто-багряной этикеткой. Он осторожно вытащил бутылку и, повернувшись к окну, прочитал: «Коньяк армянский». А ниже – что-то еще непонятными буквами, похожими на крючки. Под буквами симпатичной подковкой выгнулись крохотные желтые звездочки. Их было пять, и Добряков в первый момент подумал, что это, видимо, какой-нибудь генерал-фельдмаршал среди коньяков – впору, например, графу Салтыкову, победителю пруссаков из прочитанной командирской книги.

В следующий момент он испугался. Значит, отец в курсе, что он читает арабские сказки! Ведь не мог же он не заметить отсутствие восьмого тома. Иначе и бутылка бы там не уместилась. Очень мило! Добряков в изнеможении опустил на стул возле шкафа. Силы совершенно оставили его, бутылка выскользнула из рук и с глухим стуком упала на ковер. Он вздрогнул, вскочил и осмотрелся, хотя знал, что дома никого нет. И тем не менее сердце его колотилось, как заведенное, стук отдавался где-то пониже ягодиц. Он попробовал собраться, поднял бутылку и водворил ее на место.

Как же быть с томиком сказок? Оставить его в ящике стола? Нельзя ведь поставить его к остальным семи – как тогда быть с бутылкой? Наконец он догадался заменить зачитанный том другим, нечитанным. По толщине все восемь книг сказок были приблизительно одинаковы, да и вряд ли отец запомнил номер отсутствующего тома. Но даже если и запомнил, что с того? Видел же, что одного тома недостает, следовательно, знает, что сын тайком почитывает сказки. Определенно знает. Но ничего не сказал. Мудрый отец, справедливо полагает, что сын повзрослел и может читать что угодно. Мудрый отец, хороший, добрый отец! Твой сын тоже никому не скажет о твоём секрете, ведь ты так деликатно обошелся с его тайной!

Добряков заменил тома, расставил по местам книги ближнего ряда, закрыл дверцу. Полистал вынутый том и понял, что сладостное предвкушение покинуло его.

«Нет, сегодня не хочется», – решил он и положил книгу в ящик, уже не пряча ее у задней стенки.

Другое ощущение отвлекло его. Он вдруг вспомнил, что некоторые его одноклассники в свои четырнадцать лет уже попробовали спиртное и бахвалились этим перед сверстниками. Он хорошо знал, какое воздействие оказывает выпивка на человека, но не видел в этом ничего постыдного: его отец каждое воскресенье становился добрым, разговорчивым, бурчал что-то себе под нос перед своим книжным шкафом. Мать спокойно занималась по хозяйству, а сам Добряков беззаботно проводил время с приятелями – на катке или на футбольном поле. И поверить не мог рассказам соседей, жаловавшихся матери на изуверов-мужей. В его голове не укладывалось, как можно ни за что ни про что ударить жену, оскорбить, обругать ее. Его отец такого никогда себе не позволял.

«Значит, дело не в выпивке, все дело в самом человеке, – вновь резонно рассудил Добряков. – А само по себе вино никакой беды не доставляет. А раз так...»

Он вышел на кухню, прошел в родительскую спальню, в коридор, заглянул в сени. Никого.

«Прекрасно, – решил он. – Остается только выбрать правильную стратегию (это слово он вычитал в командирской книге, и оно понравилось ему). А правильная в данный момент стратегия будет такая: «Умей пользоваться моментом и извлекай из этого выгоду!» Замечательная книга!» – и он в очередной раз убедился, что книга – огромная сила.

Вернувшись к шкафу, он достал бутылку коньяка, поднял к свету и отметил уровень содержимого. Прикинул, что, если этот уровень понизится на три-четыре миллиметра, отец вряд ли это заметит. Сходил на кухню за стаканом, откупорил бутылку (она была неплотно закрыта пробкой, которая с легким чпоканьем выскочила из горлышка). Плеснул на дно стакана, снова поднял бутылку к свету, плеснул еще немного и вдавил пробку на место. Убрал бутылку в шкаф.

По рассказам сверстников, уже приобщившихся к спиртному, он знал, что крепкие напитки лучше запивать или заедать – например, колбасой. Колбасы в доме не водилось уже давно, оставалось запивать. Он нацедил из-под крана полстакана и вернулся к столу. Повертел в руках стакан с коньяком, полюбовался игрой солнечных бликов в янтарной лужице. Зажмурился и резким движением, как учили приятели, опрокинул содержимое в горло.

Поначалу ощутил, что проглотил ежа: с непривычки коньяк разорвал пищевод на мелкие кусочки, тысячи острых игл впились в гортань, брызнули из глаз и потекли по носу слезы. Некоторое время он стоял с выпученными глазами, боясь пошевелиться. Потом, не зная, что следует выдохнуть, попробовал вдохнуть и не смог. Ужасно испугался, схватился за горло и зашелся в спазматическом, безудержном кашле. Кисло-горькая жидкость, смешавшись со слезами и соплями, вырвалась через рот, нос, глаза. Хорошо, успел отвернуться от стола и отбежал в угол, иначе бы толстый персидский ковер, купленный матерью у спекулянтов, неминуемо погиб. Торопясь убрать желеобразную массу до возвращения родителей (был уже пятый час вечера), он вдобавок ко всему раскатился на ней, с грохотом упал на цинковое ведро и сильно ушиб локоть. Ведро устояло, и только несколько брызг пока еще чистой воды окропили ковер и бесследно впитались в мягкий густой ворс. Собрав тряпкой рвоту, выбежал во двор, испуганно озираясь (не увидели бы соседи), доковылял до туалета на задворках и выплеснул бордовую жижу в зияющую вонючую дыру между двух пригнанных одна к другой широких досок с вырезанными полукругиями посередине. Тряпку бросил на тын частокола, ведро принес обратно в сени, вымыл руки и только тогда позволил себе отдышаться.

Нестерпимо болел локоть, еще хуже – голова. Она раскалывалась миллионами спазматических укольчиков, выворачивала глаза из орбит, песком застилала взор. Он с трудом различал предметы и почти оглох: знакомый умывальник казался подвешенным колокольчиком,

постукивание сливного язычка напоминало треньканье коровьего ботала³, подвешенного у буренки на шее. Накатил жар, лицо пылало. Попробовал умыться, собрал пригоршню воды, но до лица не донес, расплескав все на грудь, ругнулся и заплетающимся шагом побрел в комнату. На ощупь дошел до кровати, наклонился и попробовал нащупать подушку. Не нащупал и рухнул на одеяло как был, одетый. Понял, что надо уснуть и на сей раз исполнилось – провалился в тяжелый и вязкий, как болото, сон...

Почувствовав, что кто-то трясет его за плечо, с трудом открыл глаза и слабо различил расплывающееся лицо, нависшее над ним огромным пятном.

– Тебе плохо? Что случилось? – узнал тревожный голос матери.

– Заболел, – едва выдавил сквозь непослушные губы.

– Носился, поди, опять без шапки? По весне-то! – мать приложила руку к горячему лбу сына. От этого прикосновения жар еще пуше полыхнул по лицу.

– Холодного чего-нибудь, – болезненно простонал сын.

– Ну, так и есть. Жар, – констатировала мать и воткнула ему подмышку градусник. – И когда только слушаться станешь?

Вытащив градусник, озадаченно пробормотала:

– Странно. Нормальная. А ну-ка...

Не доверяя всяким «медицинским штучкам», как она говорила, мать склонилась над сыном и своим верным, проверенным способом решила измерить температуру: приложилась губами ко лбу чуть выше переносицы и задержала дыхание. Но тут же отпрянула и удивленно спросила:

– Чем это от тебя несет?

– Вырвало, – простонал Добряков. – Отравился, видать.

– А ел-то что?

– Да ничего такого. Котлеты вон из холодильника разогревал.

– Ничего не пойму, – недоумевала мать. – Мясо, вроде, свежее. А пил чего?

Добряков вздрогнул, но выдержал характер:

– Да ничего не пил вовсе.

– Врача, может, вызвать? – немного подумав, предложила мать.

– Ма-а-м... не надо врача, – жалобно проскулил сын. – Начнет еще в желудок гадости всякие втыкать...

– Гадости, гадости! – нервно передразнила мать. – А разболеешься, кто с тобой сидеть станет? Мне премиальные терять, что ли? В больницу ведь не ляжешь?

Добряков совсем обессилел и только мотнул головой.

– Ну вот, не пойдешь...

– Ма-а-м, дай отлежаться, может, пройдет.

– Может, и пройдет. А может, и нет. Тогда как?

– Пройдет, – едва слышно прошептал Добряков. – Спать хочу.

– Ну спи. Накройся хоть, – и мать накинула на него теплый шерстяной плед.

Измученный разговором, согретый пледом, он скоро опять уснул и даже увидел сон. Сельский врач, Игнат Силантьевич, высокий седобородый старик в очках с толстыми линзами, говорил ему в своем кабинете: «Отравление легко определить по тошноте, рвоте, а также по сильной жажде. Жажда – это когда хочется пить. Пить. Пить. Пить...» – он беспрестанно повторял это слово, каждый раз все громче и отчетливее...

Добряков вскочил на кровати, осмотрелся и облегченно вздохнул. Голова не болела, зрение вернулось. Была глубокая ночь. Занавески на окнах были аккуратно задернуты, фосфо-

³ Ботало - погремушка, колокольчик из железного, медного листа или дерева, подвешивающиеся на шею пасушейся коровы или лошади.

ресцирующие стрелки настенных часов сложились в острый уголок – четверть третьего. Он почувствовал, что хочет пить. Поднялся, прошел на кухню, набрал полный литровый ковш воды и жадно, в несколько крупных глотков выпил. Стало совсем хорошо. Вернулся в комнату и снова уснул. На этот раз без сновидений...

Увы, наш рассказ прерывает его уже повзрослевший герой. Просыпается он не от того, что выспался, нет. Спал он всего шесть часов, как мы и предполагали. Но тот безотказный механизм похмельного пробуждения, что тысячелетиями карает приверженцев неумеренных возлияний, срабатывает и сейчас. И волей-неволей Добряков просыпается.

Вздрыгнув от привидевшегося во сне кошмара, Добряков ошалело раскрыл глаза и рукой поискал будильник на прикроватном столике. Нашупал, поднес к лицу, в слабо брезжившем рассвете едва различил стрелки на циферблате. Четверть пятого. Как всегда! И на что он стался тогда, будильник этот? Добряков в сердцах отшвырнул часы в сторону – они ударились о радиатор отопления и со стеклянным звоном рассыпались по паркетной доске.

«Мать твою разедак!» – выругался он и попытался приподняться в кровати. Получалось это с трудом: все тело разламывалось, гудело, казалось, каждая его часть жила сама по себе, не в ладах с другими. Он попробовал сбросить одеяло, но рука почему-то ухватилась за простыню, и, как он ни старался раскрыться, выходило, что все больше закутывался. Высунув наконец одну ногу наружу, он резкими движениями стал помогать рукам, но запутался окончательно и в изнеможении откинулся на спину. Холодный пот пробрал его от макушки до пяток. Он повернул голову и ткнулся лицом в подушку, чтобы стереть проступившие капли, но подушка оказалась насквозь мокрой и помогла плохо.

«Что это, неужто я во сне потел? – задал он себе вопрос, постоянно задаваемый в таких случаях и в который раз, как впервые, подивился сделанному открытию: – Да, хоть отжимай!.. Холод какой, продирает до костей... Я сейчас подохну, наверно...»

Он лихорадочно дрожал, снова кутаясь в одеяло и каждой клеточкой тела ощущая, как весь покрывается мелкими, как бисер, пупырышками. Вздумал было притянуть на одеяло лежавший в ногах плед, но понял, что не сумеет, да и высовываться вовсе не хотелось. Однако это становилось невыносимо. Нужно было что-то предпринять.

Самое скверное, что с вечера не оставил ни капли пива. В его теперешнем состоянии ему хватило бы стакана живительной влаги, чтобы не сойти с ума. Но не оставалось, он знал это, ни единой капли.

«Сволочь! Бестолочь! Идиот! И если бы в первый раз! Кретин!» – не жалел он для себя самых жестоких ругательств, прекрасно понимая, однако, что и ругательства эти – далеко не выход. Выход был один, только один. Для этого нужно было суметь подняться, совершить практически невыполнимую работу – одеться, выйти из квартиры и преодолеть мучительнейшие триста метров до ночного гастронома. Но именно подняться и одеться было сейчас для него совершенно невозможно.

И тут он вспомнил про снотворное. Где-то в аптечном ящичке серванта наверняка оставалось несколько таблеток. Превозмогая озноб, Добряков выпростал ноги из-под одеяла и долго шарил по полу, пытаясь попасть в тапочки. Потом плюнул и, удерживая на себе одеяло, резко поднялся и шагнул к серванту. Но не почувствовал, что одна нога все же нашарила тапочек, правда, обулась в него не совсем правильно – угодила пальцами в задник. И когда Добряков шагнул этой ногой, тапочек, потащившись следом, уперся в толстый ворс ковра и застрял в нем. Другой шаг, третий – и Добряков потерял равновесие и растянулся на полу в полный рост. Пропотевшее одеяло накрыло его с головой. Пытаясь высвободиться, он барахтался, матерился и встал в конец обессилевшим. Смахнув со лба крупные градины пота, он выдвинул ящик и непослушными руками стал разгребать лекарства. Вот он, заветный флакончик. Откупорив его, увидел на доннышке четыре таблетки. Трясушимися руками попытался подцепить одну и

не смог. Тогда высыпал все на ладонь и слизнул, сколько получилось. Получилось две. «Ладно, чтоб наверняка», – решил он и поплелся на кухню запивать.

Двойная доза снотворного подействовало быстро, и вскоре Добряков снова провалился глубокий сон без грез.

Зато и проснулся почти исцеленным. Нельзя сказать, как огурчик, но все равно достаточно свежим. В голове, правда, еще звенели отголоски утихнувшей боли, но хорошо уже то, что проклятой менжи как не бывало. Знал тем не менее: она не ушла совсем, лишь затаилась, схоронилась в отягченном похмельем мозгу, а потому, чтобы окончательно от нее избавиться, выбрал наивернейший способ: залить ее литром-другим. Да-да, этим вот немногим, а не то, не ровен час, она, окаянная, снова взвоет и, взбодренная перебором, сведет на нет все усилия многотрудного утра. Это уж как пить дать: переборщишь – и считай, что все старания псу под хвост, снова ложись и помирай. Сейчас, на мало-мальски свежую голову, Добряков решительно настроился покончить с пьянкой. Раз и навсегда. Вот только залить все минувшее, забыть напрочь, навсегда...

Бодро насвистывая, встал, оделся, увидел разбитый будильник и, махнув рукой, запихнул осколки в угол. «Обойдусь пока без времени, – решил он. – Ни к чему мне оно пока. Вот завяжу, устройсь на работу, начну новую жизнь, тогда...»

Что случится тогда, Добряков и сам отчетливо не представлял, тем паче, что на своем веку начинал новую жизнь раз, наверное, двадцать, даже счет потерял этим попыткам. В первый раз это случилось вскоре после выпускного бала в школе, когда, промучившись несколько дней после выпитого с одноклассниками ящика скверного портвейна, твердо положил никогда в жизни в рот этой гадости не брать. Тогда сделать это было совсем не трудно. Но впоследствии с каждым разом принудить себя к здоровому образу жизни становилось все труднее.

Следующее похмелье, уже куда более тягостное и длительное, Добряков испытал много позже, в Афганистане, куда был направлен по окончании Новосибирского военного училища. Молоденький лейтенант так живо к сердцу принял гибель лучшего друга, что не нашел иного способа прийти в себя, как уйти в запой. В военной обстановке начальство на многое закрывало глаза, но тот прокол командира взвода вывел из себя даже самых терпеливых. Чтобы загладить вину и предотвратить нависшее над ним суровое наказание, Добряков напросился в опасный рейд, успешно выполнил боевое задание, а вдобавок ко всему получил Красную Звезду на грудь. И долгие семь лет о пьянке даже не вспоминал.

Уволенный из армии по «собственному желанию» (под такой формулировкой завуалировали реальную причину, которой, памятуя недавние заслуги офицера, не захотели дать хода), он женился на москвичке, переехал в столицу и устроился охранником в одно из частных коммерческих предприятий, которые тогда росли, как на дрожжах. Завелись легкие деньги, выросли аппетиты, появился вкус к роскошной жизни. Участвовавшие дружеские попойки с коллегами привели Добрякова на койку наркологической больницы. Он провел там полтора томительных месяца, а когда выписался, жена подала на развод. Он ее ничуть не винил, прекрасно понимая, что не оправдал ее надежд и пошел в жизни по линии наименьшего сопротивления, тогда как она всегда ценила людей целеустремленных и пробивных. Добряков и сам не знал, любил ли он ее всем сердцем, однако ее второй брак с дипломатическим работником и отъезд вместе с дочерью в Италию настолько поразил его, что он снова запил – покрепче прежнего.

Вывести его из этого состояния, исцелить от мучительных переживаний могла только, он это прекрасно понимал, новая любовь. И он не преминул влюбиться. Потом вскоре женился во второй раз – скоропалительно, необдуманно, как с головой в омут. Он по сути и покончил с собой – с собой прежним, неприкаянным – и в который раз решил начать новую жизнь. «Сейчас уж точно заживу по-новому», – тешился он надеждами. Для начала вложил все свои накопления, заработанные в охранном предприятии, в покупку квартиры в новостройке, куда хотел

привести жену. Однако его новая избранница, единственная дочь известного профессора, с детства любила комфорт и представить не могла, как можно жить так далеко от центра. Поначалу она сетовала на то, что в новой квартире нет телефона. Когда телефон провели, она стала жаловаться на отсутствие поблизости станции метро, хотя при необходимости всегда пользовалась роскошным отцовским «бентли». Прожив в квартире мужа полгода, жена заявила, что не может обитать в такой «норе», и вернулась под родительский кров. А у Добрякова отныне бывала только наездами, от случая к случаю – по выходным и на праздники. «Ничего страшного, – убеждала она мужа, – сейчас многие так живут. И вообще гостевой брак – это так современно, по-европейски. Ты разве не находишь?»

Добряков находил, но сам все больше и больше отвыкал от жены. Она, видимо, это почувствовала, а может быть, ей самой так было удобнее. Так или иначе, но в один прекрасный день она позвонила и сказала, что больше к нему не приедет. Не объяснив причины. И не приехала – ни в очередной выходной, ни через неделю, ни через месяц. А через два месяца – заикнулась о разводе. Как человек военный, Добряков не привык, чтобы ему повторяли дважды. Он согласился и тут же поехал в загс – подавать заявление. Удивительно, но этот факт почему-то нисколько не взволновал его. Такой прыти она от него не ожидала и долго потом не могла простить ему этого.

Так Добряков вторично остался один. И, естественно, запил. Сам себя спросил: из-за чего? И сам себя успокоил: хотя бы из-за того, что, несмотря на все его старания начать новую жизнь, эта самая жизнь никак не хотела начинаться. Он уволился с работы и погрузился в двухнедельное дремучее забытие.

В минуты просветления он терзал себя вопросом: «Неужели я так слаб, что не в состоянии совладать с этой напастью?» И тут же находились веские доводы, казалось, опровергавшие сомнение. Слаб ли он, если на войне вытащил тяжелораненого бойца из-под пуль, за что и получил орден и отпущение прежних грехов? Слаб ли, когда почти сутки удерживал со своим взводом натиск противника на высокогорном перевале? «Конечно, не слаб, не в слабости тут дело, – думал он. – Тогда в чем же? Что со мной происходит? Почему под пулями я мог месяцами не вспоминать о бутылке, а сейчас, в спокойной жизни, не могу?»

Это давящее сознание зависимости ужасно тяготило и мучило его. Выход, казалось бы, всегда находился, но этот выход не был разрешением проблемы. Наоборот, этот кажущийся выходом путь приносил ему лишь кратковременное избавление от мучений, на самом деле лишь усугублял их, по сути являлся их непосредственным источником. Путь этот был пьянка, и самое страшное было в том, что рассудком прекрасно понимая (особенно в редкие минуты трезвости) всю гибельность этого «спасения», он ну никак не мог с этого пути сойти, и чем дальше, тем все глубже погрязал в хмельной пучине. И с каждым разом все отчетливее сознавал, что выхода нет. И это было самым мучительным в его тогдашнем состоянии.

Иногда ему казалось, что ему так тяжело оттого, что он одинок. Он быстро исправил это упущение, и в короткое время в его постели перебивали женщины почти всех возрастов и социальных категорий. Была между ними прима небольшого столичного театра; была разведенная художница, искавшая в любовных похождениях отдохновения от супружеской рутины и новых источников вдохновения; была, наконец, генеральный директор крупной маркетинговой компании – зрелая замужняя дама, оправдывавшая свое поведение чрезмерно высоким заработком и, наоборот, скудной зарплатой супруга. Эти были из числа «крутых», как величал их за глаза Добряков. Что же касается «обыкновенных» – учительниц, медсестер, продавщиц, парикмахерш, – то их вообще было не счесть за последние восемь лет, что Добряков холостяковал.

Почти все его подруги бросали его на второй-третий месяц знакомства, некоторых из них он оставил сам. Тем более что в самом главном, в том, для чего он собственно и заводил все эти связи, в попытке отвлечься от тягостного пристрастия, – даже в этом никакого прогресса

не наблюдалось. Некоторые из его пассий были откровенными алкоголичками, остальные тоже были не промах по части выпивки. Понятно, что ни о каком избавлении и речи не было.

Наверное, последнее и было основным доводом, заставившим Добрякова прекратить донжуанствовать и альфонствовать. Он порвал продолжавшиеся вялотекущие знакомства, перестал отвечать на телефонные звонки. А чтобы все-таки не потерять связь с нужными людьми, купил мобильный телефон и сообщил свой номер кому следует. Потом съездил на телефонный узел и попросил отключить стационарный телефон.

Мы знакомимся с нашим героем месяца через два после того, как он порвал с последней подружкой, купил мобильник и решил устроиться на работу. Уже было и позвонил кое-кому, и благоприятный ответ получил, и на собеседование пригласили. Собраться бы и поехать. Но очередной глоток закономерно перешел в запой, и выгодное предложение осталось нереализованным.

«Ничего, пустяки, – утешал себя Добряков, собираясь в то утро за пивом. – Сюда брали, значит, в другое место тоже возьмут. Охранники везде нужны. Вот только сейчас приду в себя и к вечеру... нет, завтра с утра начну звонить. Вон их сколько требуется!» – он бросил взгляд на газету рекламных объявлений, третий день ожидавшую его внимания на кухонном столе. В этой газете добрую половину выпуска занимали объявления о вакансиях охранных предприятий.

«Завтра, завтра, – обнадеживал себя Добряков, глядя на газету. – Вот только с менжой покончу сегодня...»

В подтверждение своих мыслей он уверенно кивнул, посмотрел в мобильник (было почти девять часов утра) и отправился в ближайший пивной киоск.

* * *

В сладком предвкушении он вышел из подъезда и быстрым шагом пошел, почти побежал, к киоску, срезая путь по свежему газону.

Возле пивной точки, синего грязноватого павильончика, никогда не бывало пусто. Так и сейчас толпы завсегдатаев кучковались перед маленьким окошечком, забранным заляпанным оргстеклом. В числе толпившихся Добряков еще издали различил своего соседа Рюмина – тот, видимо, рассказывал окружающим его выпивохам что-то скабрзное, они слушали и дружно, в полную грудь хохотали.

Добряков проигнорировал соседа, хотя с остальными следовало бы, конечно, поздороваться, и с ходу ткнулся в окошко.

– Здорово, Сашок! – приветствовал он хозяина киоска, пожилого армянина, второй год после выхода на пенсию подрабатывающего таким несложным и весьма доходным способом.

– Привет, Егорчик, – осклабился тот в делано-приветливой улыбке. – Как спалось-ночевалось?

– Издеваешься? – скривился Добряков.

– Тяжко, да? – Сашок вытягивал губы, и было непонятно, подшучивает он или сочувствует.

«Впрочем, мне-то что! – злобно подумал Добряков. – Пусть себе жирует, сволочь нерусская, до поры до времени». А вслух сказал – небрежно, на выдохе:

– Тяжко – не то слово. Да тебе, верно, неизвестно такое состояние души и тела?

– Никогда не увлекался, ты прав, – кивнул торговец. – Но искренне сочувствую страждущим. Если плохо было, чего ж не приходил? Я ведь сегодня всю ночь тут был.

– Какое там приходить! – махнул рукой Добряков. – Подняться-то не мог как полагаются... Ты вот что, дай-ка мне литр моего, а потом поговорим.

Сашок кивнул и выставил перед окошком две бутылки нового «Жигулевского» – он прекрасно знал, что любит каждый завсегдатай.

– Во! Это по существу, – одобрительно крикнул Добряков и рассчитался. – Дефлоратор дай.

– Всегда в наличии, – заулыбался Сашок и протянул в окошко бутылочный ключ.

Добряков привычным жестом сдернул пробку с бутылки и жадно припал губами к горлышку. В рот потекла исцеляющая прохладная жидкость. Он опростал полбутылки, смачно крикнул и с шумом, напряженно выдохнул. В голове ошутимо ясно.

– Что не здоровкаешься, Егорыч? – к нему подошел один из толпы, здоровенный Ермалюк, шапочный знакомый по распивочному цеху. – Я уж подумал, не зазнаешься ли, афганский герой.

Добряков улыбнулся и протянул руку:

– Привет, как сам? Зазнаваться – не в моих правилах. Я уважаю каждую человеческую личность.

– И не сомневался, – Ермалюк расплылся в добродушной пьяной улыбке. – У нас поменьку, ни в хромоту, ни в галоп. А ты чем живешь-дышишь?

– Дышу хмельными парами, как видишь, – ответил Добряков. – А живу... Хрен его знает, как живу. Как все мы, видать, живем. От бутылки к бутылке.

– Верно! – осклабился пуще прежнего Ермалюк. – И дай Бог, чтобы не перевелись эти бутылки на нашем веку! За это стоит облиться! Эй, ну-ка сюда, за будущее пьем!

К нему подвалили двое остальных – Рюмин и еще один, не известный Добрякову мужичок лет под пятьдесят, весь помятый и высохший, как жмых. У этих двоих пить было нечего, и Ермалюк купил им у Сашка две поллитровки.

– Ну, вздрогнем? – шумно пробасил здоровяк и поднес бутылку к губам. – Эх, расступись, дружбаны, оболью! – и единым махом вылил содержимое бутылки в бездонное нутро.

Все выпили следом, утерли рты, покидали пустые бутылки в урну, наперебой загомонили, рассказывая сальные анекдоты.

– Две подружки разговаривают, – бойко начал порозовевший Рюмин, ни к кому в особенности не обращаясь. – Одна спрашивает: «Ты когда трахаешься, у твоего мужа глаза квадратные?» Вторая ей: «Не помню такого. А что, должны быть квадратные?» Первая: «Да ты знаешь, я раньше тоже никогда не замечала, а вчера, представь себе, лежу, трахаюсь, муж заходит, а глаза у него – квадратные!» – и Рюмин загоготал первым, не дождавшись реакции дружков.

Те двое тоже расхохотались, а Добряков поморщился. Этот анекдот Рюмин рассказывал ему уже несколько раз, к тому же всякий раз не умел передать подлинную интонацию, с которой и надо было рассказывать такие вещи. «Много ли с него возьмешь? – подумал Добряков, презрительно глядя на соседа. – Так, пустой человечиска, мразь вонючая!»

Он отошел в сторону, не желая слушать других анекдотов. Однако зычный рокот Ермалюка летел ему вслед:

– А то другой анекдот. Мужик приходит в магазин и спрашивает: «У вас шампунь есть?» Продавщица ему отвечает: «Есть, яичный». А он рожу скособочил и говорит: «Как же так? А я хотел весь помыться».

Снова клопочущий пьяный хохот, матюки. Добряков отошел еще дальше, присел на обшарпанную лавочку, всю в непристойных надписях, среди которых его особенное внимание привлекла такая: «Здесь добился благосклонности неприступной Аллочка вчера ночью в 2 часа».

Добряков невольно усмехнулся: «Вот ведь половой страдалец!» – и вытащил из кармана вторую бутылку. Посмотрел в сторону киоска, подумал было подойти и взять ключ, но раздумал, достал зажигалку и звонко, со чпоком, откинул легкую пробку в сторону. Сделав полукруг, пробка с легким звоном стукнулась о бордюрный камень, отскочила и, прокатившись полметра, замерла на асфальте. Проследив ее путь, Добряков запрокинул голову и отхлебнул

два-три глотка. А когда опустил голову, увидел шедшую прямо на него незнакомую женщину средних лет.

Рыбак рыбака видит издалека, гласит русская поговорка. То же самое можно сказать о представителях любой профессии. А уж насколько верно это применительно к приверженцам Бахуса – и говорить не стоит. Потому как Добряков, едва увидел незнакомку, как сразу же, навскидку признал в ней заложницу зеленого змия и родственную душу. Нет, она совсем не была пьяна, не спотыкалась, ее не «штормило», как говорят об изрядно перебравших. Другой, посторонний человек вряд ли бы определил в ней неодолимую тягу выпить, сквозившую разве что в ее вымученных глазах, но никак не в ее облике. Женщина как женщина, идет куда-то по своим делам, торопится, видимо, заметно взволнована – вон как жестикулирует на ходу правой рукой, левой подцепив замызганную авоську. Может, дети голодные, спешит в магазин, может еще что-нибудь срочное сделать поспешает. Так, наверное, подумал бы всякий сторонний прохожий, скользнув взглядом по этой женщине. Если бы вообще подумал что-нибудь. Но в том-то и дело, что Добряков был не из числа таких равнодушных прохожих, а потому сразу же наметанным взглядом определил в глазах незнакомки ту неистребимую жажду, с которой просыпаются по утрам люди, находящиеся в состоянии, близком его недавнему, утреннему состоянию.

«Ага, вот еще одна страдальца, – смекнул он. – Интересно, утром-то она спит или тоже мается?» Почему-то именно эти утра, тревожные, мучительные похмельные утра, волновали Добрякова больше всего. «Наверное, потому, – подумалось ему, – что если бы не ужас этих утр, все остальное было бы просто замечательным. У этой вот, видимо, все более-менее в порядке, если идет сюда сегодня впервые. Ясный хобот, что впервые, иначе выглядела бы она чуть по-другому. Видать, просто вчерашнее дает себя знать, а сама она тоже хорошо знает лекарство от этой мерзости...»

Женщина, обойдя застывшего в размышлениях Добрякова, подошла к киоску и стала нетерпеливо всматриваться внутрь. Видимо, Сашок, утомленный пьяными бреднями завсегда-таев, задремал в глубине помещения на своем стульчике и не увидел новую покупательницу. А она между тем нетерпеливо вытягивала шею и все пыталась увидеть внутри киоска продавца.

«Немая, что ли?» – решил было Добряков и подошел к окошку.

– Сашок, а, Сашок? – громко позвал он.

– Да, дорогой! – откликнулся тот изнутри.

– К тебе тут покупатель, а ты и не видишь.

– Теперь вижу, Егорчик, вижу, – и услужливая физиономия торговца показалась. – Слушаю вас!

Однако женщина почему-то не спешила говорить и только нетерпеливо жестикулировала правой рукой. Какие-то звуки, похожие на мычание, слабо вырывались из ее полураскрытого рта, но ни одного связного слова Добряков с Сашком так и не услышали.

«Точно, немая», – утвердился Добряков в своем мнении и поспешил помочь:

– Сашок, она, видимо, хочет пивка холодненького, – и вопросительно посмотрел на странную покупательницу.

Та оживилась, одобрительно закивала белокурой головой, и в такт движению заколыхались слегка завитые непричесанные волосы.

– Ну вот, видишь, я прав. Сашок дай ей бутылочку... ну, «Хейнекена», что ли, – и он снова воззрился на немую.

И она снова одобрительно закивала в ответ на его взгляд. Потом суетливо полезла в авоську. Вытащила замызганный кошелек и извлекла из него пятитысячную купюру.

«Ого!» – чуть не присвистнул Добряков.

– А помельче нету? – спросил Сашок.

Женщина отрицательно замотала головой, и снова синхронно заколыхались подобия кудряшек на ее немойтой голове.

– Егорчик, у тебя размена не будет? – высунулся из окошка торговец.

– Ты шутишь? – парировал Добряков. – Таких денег тыщу лет не видал.

– Может, посмотрите у себя получше, помельче бы мне, с утра еще нет выручки, – обратился Сашок к незнакомке.

Та растерянно развела руками, и Добряков нашелся:

– Так и быть, сударыня, я куплю вам эту бутылку, потом рассчитаемся. Идет?

Женщина благодарно закивала, сунула пятитысячную в авоську и буквально выхватила пиво из рук торговца. Отвинтив пробку, отошла в сторонку и жадно припала к бутылке.

Добряков медленно подошел к ней. Дождаясь, пока она выпьет, молча смотрел на нее. Когда емкость опустела, незнакомка отшвырнула бутылку в сторону, на газон, и вытащила из авоськи пачку «Мальборо». Добряков подивился еще раз, но снова промолчал.

Женщина прикурила, глубоко затянулась и шумно выдохнула густую струю дыма.

– Вам полегчало? – спросил наконец Добряков и ожидал ответного жеста. Но на его удивление женщина заговорила. Грудным таким, густым, нутряным голосом.

– Да, легче гораздо, спасибо тебе. Все утро мучилась, ждала, пока сын на работу уйдет, неудобно при нем...

– Мы уже на «ты»? – удивился Добряков.

– Да ладно тебе, не бери в голову, – она метнула в него озорной взгляд и снова затянулась. Выдохнула и еще раз поблагодарила: – На самом деле спасибо. Если бы не нашлась у него сдача, как бы я дотерпела, не знаю. Это в универсам тащиться, а дойди-ка до него в таком состоянии...

– Ясное дело. Но тащиться-то все равно придется... – заикнулся он.

– А, ты про деньги! Не волнуйся, отдам.

– Да я даже не про то, – попытался оправдаться Добряков. – Я к тому, что добавить-то все равно придется, этой поллитры-то, как ни поверни, мало?

– Какой с нее прок, с поллитры-то? – скривилась она.

– Так, значит, и надо к универсаму пройтись. Если силенок маловато, так я готов еще бутылочку взять.

– Весьма одолжишь.

«Говорит-то как!» – подумал он. Незнакомка определенно не переставала удивлять его.

– Так возьму? – скорее для проформы уточнил он и, не дождавшись ответа, подошел к киоску, взял еще две бутылки и хотел было вернуться к незнакомке, но Рюмин вдруг стал ему поперек пути.

– Ты того, Егорыч, – начал он заплетающимся языком. – Ты с ней поосторожнее. Как друг говорю.

– Чего тебе еще? – насупил на него Добряков.

– Ты погоди, не кипятись, не кипятись, – заискивающе залепетал сосед, осторожно взял Добрякова под локоть и, озираясь на незнакомку, отвел его в сторону. – Я ее знаю, она вон в том доме живет, – Рюмин неопределенно повел рукой в сторону. – Всех соседей перебрала, никому не отказала. Хочешь, сам узнай...

– Что надо будет, узнаю и без тебя, – отрезал Добряков.

– И деньги в рост дает, а проценты дерет заоблачные! – не унимался сосед. – Ты уж поостерегись брать-то у нее, слышь?

– Пока что берут у меня, – усмехнулся Добряков и внушительно добавил: – Я ведь тебе, кажется, говорил, предупреждал не раз: не суй нос в мои дела. А то не посмотрю, что сосед, – и для устрашения, скорее шутя, он слегка занес сжатый кулак.

Рюмин съежился, заморгал испуганно и отпрыгнул в сторону.

– Гляди, предупреждали!

Добряков презрительно посмотрел на него и пошел к незнакомке.

– Жарко что-то стало после прохладительного, – томно сказала она, расстегивая «молнию» куртки. Под ней она была в вязаной кофточке, плотно облегающей высокую грудь. Добряков скользнул взглядом пониже. Под черными лосинами угадывалось гибкое, сильное тело.

«Сколько же ей лет-то? – мелькнуло в голове. – На вид все пятьдесят. Хотя у таких лицо не паспорт, конечно, скорее свидетельство о смерти».

– Что он тебе говорил, малахольный этот?

– Да так, про прошлые долги, – ушел от ответа Добряков.

– Ты его знаешь?

– Как не знать, сосед мой по площадке.

– Повезло тебе! – в ее голосе просквозила ирония.

Добряков это почувствовал и спросил:

– И вы... и ты его знаешь? – и замолчал, не зная, как она отнесется к тому, что и он перешел на «ты».

Она, казалось, совсем этого не заметила и продолжала:

– Скользкий тип. Все время, как увидит меня, делает этикие сальные глазки и намеками что-то все лепечет, лепечет. Озабоченный, что ли?

– Да хрен его знает, не вникал. Нужен он мне!

– Такие с удовольствием про других разные гадости распускают. Из мести, что сами обделены, рожей не вышли.

Добрякову был неприятен и сам Рюмин, и разговоры о нем, и он поспешил перебить собеседницу:

– Да что он тебе дался! Вот, выпей еще, – и протянул одну бутылку. – Открыть?

– Да уж, сделай милость.

Он открыл поллитру и протянул ей, посмотрел на вторую и тоже открыл.

– Тебе одной хватит? А я с тобой на пару, идет? – неожиданно для самого себя решил он.

– Хватит, конечно, все равно в универсам идти. Пошли со мной, там и рассчитаюсь.

По дороге Добряков спросил:

– А почему ты у киоска молчала? Как немая.

– А я всегда немая, когда похмелье душит. Мозги не работают, язык не поворачивается.

Нынче утром проснулась в половине седьмого, чувствую: не могу. Знаю, что надо поправиться, но сил нет совсем. Думаю, пересилю себя, все равно соберусь и пойду, пока сын спит. Он у меня строгий на этот счет, все бережет меня. И только хотела выходить, он тут как тут, будто чуял. Вытащил мои ключи из замка и не пускает. Пришлось мучиться, пока он завтракал и собирался...

– Но потом ведь все равно пошла? – перебил Добряков. – Он ведь все равно узнает!

– Потом пусть узнает. Он, когда я пьяная, снисходительнее со мной. Знает мою болезнь, жалеет по-своему...

Она замолчала, грустно оборвав фразу.

Ближайший универсам «Все сезоны» был недалеко, метрах в трехстах. Пока шли туда, допили пиво. Она купила шесть бутылок «Хейнекена» и нарезки салями на закуску. Уложила все в авоську и спросила:

– Поможешь донести? Тут недалеко.

– Помогу, чего же, – кивнул Добряков, мгновенно почувствовав импульсивные толчки в области таза. И сразу же приятное тепло волнообразными приливами заполнило нижнюю часть тела.

«Это же издевательство над собой – воздерживаться третий месяц», – мелькнуло в голове. И уже уверенно повторил:

– Конечно, помогу, давай.

Перехватил авоську и первым вышел из универсама.

Ее дом оказался почти рядом с домом Добряков. Они поднялись в лифте на третий этаж. Щелчок-другой ключом, и Добряков оказался в просторной прихожей. В трех ее стенах имелись четыре двери.

«Четырехкомнатная!» – снова удивился он и еще раз посмотрел на случайную знакомую.

– Удивляешься, – улыбнулась она. – Как-нибудь расскажу тебе всю мою жизнь. И откуда такое богатство. Если не будешь против, конечно. А теперь мыть руки и на кухню. Знакомство-то отметить надо?

Он вымыл руки в роскошной ванной с евроремонтом. Оглядел себя в богатом зеркале, причесался. Да, не такого он ожидал, увидев эту «немую» возле киоска. Вот это чудеса!

«Ну да ладно, все это разъяснится так или иначе», – и он вышел из ванной и направился на кухню, которая поражала с первого взгляда шикарной дубовой мебелью. На столе уже стояла закуска, были откупорены две бутылки, рядом возвышались высокие бокалы. Добряков ничего не понимал в стекле, но понял, что посуда не из простых.

– Да ты кто такая? – только и сумел произнести.

– Сейчас – обычная российская пенсионерка, – скромно ответила она, усаживаясь на стул и кивком головы приглашая его сесть напротив. – А это, – она обвела кухню взглядом, – это все достижения минувшего. Но потом...

– Ты замужем? – неизвестно зачем брякнул гость и в следующий момент уже пожалел, что спросил.

Она, впрочем, отнеслась к вопросу спокойно:

– Нет, с мужем я разведена уже лет восемь.

Добрякову такой ответ, разумеется, пришлось по душе, и он решил пока оставить щекотливую тему.

– За твое здоровье, – и он поднял высокий бокал.

– И за твое. Еще раз тебе спасибо. Ты поступил как джентльмен.

Они выпили, закурили, помолчали, глядя друг на друга. У нее были яркие голубые глаза, но какая-то грусть, больше того – невероятно глубокое страдание виделось в самой их глубине. Правильные черты лица, хотя красавицей ее не назовешь. Ухоженные руки, на пальцах – модный маникюр.

– Тебя как зовут? – он первым нарушил тишину.

– Зинаида, – ответила она. – Предупреждая дальнейшие вопросы, дополняю: мне сорок шесть, сыну Виктору двадцать, не женат, и, видимо, не тянет. Теперь твоя очередь.

– Егор меня зовут, Добряков, сорок лет, бывший офицер, воевал в Афгане...

– Офицеры бывшими не бывают, вас разве не учили? – перебила она.

– Оно, конечно, так, но... – он замялся.

– Ладно, потом расскажешь, у нас еще впереди куча времени. Кино не хочешь посмотреть?

– Не отказался бы.

– Пошли в гостиную, телевизор там получше, с видео.

Они перешли в просторную гостиную, удобно разместились в глубоких креслах. Она щелкнула кнопку, на экране телевизора появились титры.

– «Fargo», – прочитал Добряков.

– Очень хороший фильм братьев Коэнов, – объяснила она. – Это известные голливудские режиссеры. А это один из ранних и самых лучших их фильмов. Раз, наверное, пятнадцать смотрела. Ты ничего у них не смотрел?

– Да нет, я как-то по импортному кино не спец... – замялся он.

– Ладно, исправим, а пока смотри.

За просмотром они опорожнили еще по две бутылки, а когда фильм закончился, она выключила телевизор, перешла на диван и таинственно посмотрела на него. Полуразвалившись, играя длинными кистями красивого шелкового халата, позвала негромко:

– Иди ко мне...

Погружаясь в красивое тело изумительной белизны, Добряков вспомнил: «Неужели прав засранец Рюмин, и она из таких?» Но потом как-то легко, сам собой нашелся выход: «Да мне-то что! Из таких, значит, из таких», – и зачем-то спросил, жарко дыша:

– А фамилия у тебя как?

– Кузихина, – едва слышно простонала она.

«Кузихина так Кузихина», – было последним, что подумал Добряков в тот момент...

4

Вся взрослая жизнь Зинаиды Кузихиной, в девичестве Гвоздевой, представляла собою непрерывающуюся череду упорных попыток вырваться из неумолимо сжимающегося круга алкогольной зависимости и венчающих эти попытки неудач.

Зина родилась в подмосковном селе, которое, когда ей исполнилось семь лет, было поглощено разрастающейся столицей, так что когда крохотная первоклассница переступила порог школы, она вполне основательно могла считать себя москвичкой.

Родители ее особенными талантами не отличались, и тем поразительнее было то, что окружающие поражались обилию этих талантов в их дочери. Девочка с детства девочка хорошо пела, неплохо рисовала, выразительно декламировала стихи. В седьмом классе победила на городской олимпиаде по литературе, и с тех же пор определились ее интересы: она стала много читать, писала великолепные сочинения и доклады для выступления в районном отделении научного общества учащихся. В десятом классе твердо решила поступать на филологический факультет педагогического института и усиленно налегла на учебу. Ее труды были отблагодарены: получив серебряную медаль и сдав на «отлично» профилирующий предмет, она стала первокурсницей.

Однако этих достижений она добилась не благодаря родителям, а скорее вопреки ним. Ее стремление к учебе вызывалось во многом стремлением рано или поздно получить достойную профессию, начать самостоятельно зарабатывать и вырваться наконец из того болота, которое устроил из их жизни вечно пьяный отец.

Двухкомнатную квартиру в благоустроенном доме в новостройке семья получила, когда Зина поступила в институт, а до тех пор Гвоздевы ютились в собственном небольшом домишке на окраине того села, которое недавно стало частью Москвы.

Отец ее крепко пил, а когда напивался, становился буен и непредсказуем. Он почти ежедневно приходил с работы навеселе, а зачастую и вовсе на бровях, как говорила мать, однако спать не ложился, а требовал с жены на бутылку, размахивая огромными кулаками, которыми гордился как свидетельством своего пролетарского происхождения. Всю жизнь проработав в мясном разделочном цехе крупного гастронома, отец ни разу не воспользовался этим и не принес домой ни килограмма мяса, купленного по сниженной цене, установленной для сотрудников магазина. Не потому что был честен, а потому что во всем искал (и успешно находил) свою мелкую, пьяную выгоду. Мясо он, конечно, покупал, но относил его отнюдь не в семью, а к знакомым, которым и продавал его по цене, чуть ниже магазинной, но гораздо выше той, которую уплатил сам. Покупали у него охотно, а вырученные деньги он аккуратно складывал на сберкнижку, так что проблем с выпивкой не испытывал никогда.

Развалившись после работы на стуле у кухонного стола, он шумел, приказывал жене накрывать стол, стучал по столешнице, если не видел бутылки, и дико орал:

– Я тебе матку повыворачиваю, гнида! Ставь пузырь, кому велено!

Безропотная и забитая мать неслышно выскальзывала в дверь, а удовлетворенный таким послушанием отец входил в спальню, где дочь готовила уроки.

– Ну что, Зинка, повышаешь успеваемость? – говорил он уже спокойнее, снисходительно поглаживая дочь по голове и опускаясь на крышку сундука возле письменного стола.

– Повышаю, папа, – отвечала Зина робко, не потому что боялась отца (она знала, что он никогда не ударит ее), а потому что с малых лет поняла: гневить дураков – себе в ущерб. Скудоумие отца сквозило во всех его словах, жестах и поступках, и девочка знала: скажи она что-нибудь поперек, гнев родителя непременно перекинется на мать. А мать она любила и очень жалела ее.

Смолов какую-нибудь бредятину над тетрадками и учебниками дочери и в конец отравив ее перегаром, отец возвращался на кухню, где вернувшаяся мать уже выставляла на стол запотевшую, как он любил, бутылку «Столичной». Отец смягчался и называл жену Клавдюшей, говорил, что только она одна его понимает, что она одна его ценит.

А затем наступал самый настоящий кошмар. Скандал утихал, но на смену ему являлся содом. Отец пил не спеша и после каждой стопки выкуривал папиросу «Беломор», заполняя тесненькую кухоньку невыносимым удушьем. Окончательно потеряв координацию движений после половины выпитого, он задевал руками тарелки, и на пол летели остатки борща, соусная подливка к котлетам, разбитая посуда. Если отца понуждала малая нужда, он не спешил во двор, в старый покосившийся холодный туалет, а опрастывался тут же, в углу кухни.

– Заработал я, кажись, комфортабельность как у никаку, – ворчал он, кряхтя и фыркая, неуверенными пальцами пытаясь застегнуть ширинку.

Мать не кидалась убирать за ним, по опыту зная, что это не прекратится до тех пор, пока ее суженый окончательно не отключится прямо за столом. Тогда она негромко звала Зину, и они с дочерью тащили обеспамятвшего отца в спальню, клали на кровать, мать кое-как раздевала его и укутывала теплым одеялом по самый подбородок. Но это помогало мало, и к утру, когда пары алкоголя испарялись, отцу всегда становилось зябко и он начинал ворочаться, обдавая жену зловонием и вонючим потом.

Поздние вечера мать и дочь коротали вдвоем, на кухне, чтобы не тревожить сон отца. Не потому что жалели его, а потому, чтобы хоть бы ночь провести в тишине и покое. Мать тихо всхлипывала и вязала очередные носки кормильцу, а Зина не знала, чем утешить ее. Казалось, она отдала бы тогда все на свете, чтобы ее мать по-человечески отдыхала, могла сходить на концерт или в театр. Но денег катастрофически не хватало, и мать даже в кинотеатре никогда не была, весь свой век проработав упаковщицей на сельской птицефабрике.

Поздними вечерами мать рассказывала дочери, что отец, сколько она его знает, всегда был таким. Она была убеждена, что ее супруг, несомненно, ничуть не виноват в своем пьянстве, поскольку его отец и дед были пропойцами не в пример ему. Зина не понимала, как можно было быть большими пьяницами, чем ее отец, но матери не возражала.

Правда, однажды девушка (она тогда училась в десятом классе) не удержалась и поинтересовалась, зачем же мать в таком случае вышла за него замуж.

– Зачем вышла? – мать подняла на дочь тяжелые, заплаканные глаза, с минуту посмотрела на нее, затем отвела взгляд в сторону и задумчиво переспросила еще раз: – Зачем вышла, спрашиваешь? Кто ж теперь знает, дура, видать, была, замуж хотела. Да и он был не такой, целовал горячо и крепко, защищал когда надо. В селе никто про меня ничего озорного сказать не смел, всякий знал, что у Кольки кулаки кованые. Один нарвался такой. Отказалась я с ним танцевать в клубе, так он возьми и обзови меня. Колька мой услышал, подскочил к обидчику, схватил его за грудки и давай мутузить. У него привычка была – бить не костяшками кулака, а плашмя, пальцами. Говорил, что если ударит костяшками, может убить. Так забил тогда беднягу, что только дружинники их расцепили. Про суды тогда никто и не думал, это теперь, чуть

что, – заявление подают. Сам потом повинулся, навестил больного (тот неделю с сотрясением лежал), захватил с собой бутылку. Вроде ничего, помирились.

– А когда вы познакомились, он уже крепко пил? – пытала дочь.

– Да что ты, нет, конечно, – отмахивалась мать. – По чуть-чуть позволял. Правда, каждый день. С работы всегда возвращался трезвый. Он с самого начала работал в этом магазине, ездил в Москву на автобусе, а пьяным попробуй-ка доберись. Тогда еще с пьянками боролись, да и с работы могли попросить. Остерегался. Ну так вот, вернется, тогда уж и отрывается. Очень любил красное вино – портвейн, вермут. И особенным шиком почитал, знаешь, на людях, при всех, сорвать пробку-«бескозырку» зубами и вылить всю бутылку в горло сразу, в один заход. Потом только крякнет, вытрет рот – и как ни в чем не бывало. На танцы придем, достанет из кармана вторую и оприходуется прямо на пороге зала. Потом уже мог два, три часа вытанцовывать, но головы никогда не терял, на ногах твердо держался. Зато с возрастом стал таким же, как его отец и дед – таким вот, понимаешь? – и мать кивала головой на спальню, откуда несся густой храп мужа. – Может, и поспешила я тогда, по молодости, все думала, не выйду сейчас – потеряю своего Коленку. Очень уж любила его. Только позже мне подружка одна попеняла на мою поспешность. «Куда летишь? – говорит. – Не терпится трусы грязные стирать? Или боишься без мужика остаться? Запомни, дуреха: никакой хрен на этом свете не последний. (Прости меня, дочка.) Поняла или трудно доходит?» Я, может, и поняла ее, да уж поздно было: забеременела я тобой. Что ж, дитя без отца растить?..

Несмотря на такой веский довод, Зинаида отказывалась понимать ее. Уж лучше одной остаться, считала она, с ребенком на руках, чем мыкаться вот так всю жизнь.

– Э-э-эх, – вздыхала мать. – Это вы, нынешние, так теперь думаете. А в наше время супружеством дорожили, мужа ценили...

Зина уставала спорить, молча вставала, уходила в спальню и ложилась в свою постель. Включала слабый ночничок над самым изголовьем и долго, пока, переделав на кухне все дела, не укладывалась мать, читала. В ту пору она очень увлекалась Львом Толстым и, читая его книги, все пыталась представить себе Андрея Болконского или Анну Каренину пьяными и никак не могла представить. Пьер Безухов, правда, по тексту романа, выпить любил, но как все-таки интеллигентно это у него выходило и куда уж его пьянству до пьянства ее родителя, неизвестно за какие грехи данного ей в этой жизни!

Зина тяжело вздыхала, откладывала книгу, гасила свет и с грустными мыслями засыпала. Рядом, на тесной полутораспальной кровати, еще долго не спала мать и без умолку храпел мало-помалу трезвевший отец. А на следующий день все повторялось один к одному, как в старой, приснопамятной сказке о белой домашней скотинке.

Как-то раз отец проснулся среди ночи и начал вытворять что-то вовсе невообразимое. От привидевшегося во хмелю он вскочил на кровати, пулей вылетел из-под одеяла на пол и дико озирался по сторонам, размахивая огромными ручищами, словно защищался от кого-то. Мать испуганно вскрикнула: «Коля, Коля, что с тобой», – но безумный супруг не слышал ее и рычал с пеной у рта:

– Сволочи!.. И среди ночи покою нет!.. Зарублю-ю-ю!.. – взвизгнул он и кинулся на кухню, а оттуда в сени. Мать поспешила за ним (не выкинул бы чего!) и только успела заметить спину разъяренного супруга, выбегавшего во двор в одних трусах и с топором в руке.

– Боже мой, непусти смертоубийства! – тихонько рыдала она, стоя у калитки и глядя на огромную фигуру мужа, метавшегося по темной улице в поисках неведомого ей обидчика.

– Мама, на кого это он взбеленился? – спросила дочь, следом за ней выбежав из дома.

– Кто его знает, доченька, – поскуливала мать, обнимая Зину и крепко прижимая ее к груди. – Поди-ка узнай у него, у пьяного-то...

– А раз так, то и узнавать нечего, идем домой, – позвала дочь, но мать сопротивлялась, все высматривая мужа заплаканными глазами:

– Как же уйти-то? – возражала она, ломая руки. – А не ровен час, убьет кого?

– Да кого он убьет, мама? – успокаивала Зина. – Пробегается, выветрится и вернется. А может, и заберут куда следует, нам же лучше...

– Зина, что ты такое говоришь? – вздрогнула мать и округлившимися от ужаса глазами смотрела на дочь. – Тебе что, родного отца не жалко?

– Мама, мне гораздо больше тебя жалко, – парировала Зина. – Тебя он жалеет хоть немного, а? Это ты все вокруг него носишься, противно смотреть даже. А ему хоть бы хны, живет в свое удовольствие и помыкает нами. Я бы на твоём месте как-нибудь плюнула ему трезвому в рожу, знаешь, смачно так, харчком, может, немного опомнился бы...

Зина развернулась и пошла в дом, оставив нечастную мать у калитки.

«Да и что я могу сделать, если ты добровольно взяла себе роль жертвы? – подумала она про мать. – Невмоготу, так давно развелась бы с ним, никто жалеть не станет. Или вон сходила бы к нему на работу, пожаловалась в дирекции да сдала бы его в ЛТП.⁴ Подумаешь, персона нон-грата!»

По молодости лет ей многое, если не все, казалось простым и очевидным.

Она вернулась, снова легла, но сон не шел. Посмотрела на часы – половина четвертого.

«Позвонить, что ли, в милицию? – подумалось ей. – Может, вернее определят?»

Она встала и уже подошла было к телефону, но махнула рукой и взяла со своего стола книгу. Присела на стуле и раскрыла зачитанные страницы библиотечного тома. Попробовала читать – ничего не получалось. Все-таки тревога за мать мешала ей воспринимать прочитанное. Она встала и снова направилась к двери. Но слабый шум в сенях остановил ее посреди кухни.

Вскоре дверь распахнулась, и через порог ввалился обмякший отец и неуверенными шагами, поддерживаемый матерью, направился в спальню. Он понурил голову и едва слышно бормотал что-то несвязное. Мать из последних сил, тяжело дыша, удерживала его обессиленными руками и глазами делала какие-то знаки дочери.

– Мама, ты что? – пыталась понять дочь, и мать, едва слышно выдавила:

– Смени... ему простыню... Та мокрая, поди.

Зина кинулась в спальню, сорвала с родительской кровати провонявшее белье, бистрехонько вытащила из шкафа свежую простыню и раскинула ее по-над матрацем, даже заправлять не стала. Мать осторожно подвела отца и опустила его на постеленное, Тяжелое и обмякшее, пьяное тело рухнуло на панцирную сетку. Сетка какое-то время поколыхалась, издавая тонкий металлический цокот, потом затихла, и Зина вспомнила из курса физики: «Затухающие колебания — это колебания, энергия которых уменьшается с течением времени. Как все наглядно и очевидно».

Зина погасила свет, они с матерью улеглись, и тут ночную тишину пререзал резкий, взрывной храп отца. Но это было уже совсем ничтожное неудобство за весь нынешний вечер, и вскоре все в доме спали.

На следующий день, после шести уроков, Зина зашла в сельскую библиотеку, попросила московский телефонный справочник и записала адрес ближайшего наркологического диспансера в Москве. Определив по карте его местонахождение, она отправилась на автобусную остановку и уже через полчаса входила в метро.

Добравшись до диспансера, она поинтересовалась в регистратуре, у кого можно получить консультацию. Женщина-регистратор пристально посмотрела на нее, попросила паспорт, завела карточку и отправила в пятый кабинет, проводив девушку заинтересованным взгля-

⁴ ЛТП - лечебно-трудовой профилакторий. В СССР и некоторых постсоветских странах — вид лечебно-исправительного учреждения, предназначенного для тех, кто по решению суда направлялся на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма. Фактически ЛТП являлись местом лишения свободы, где основным методом лечения был принудительный труд больного.

дом. Зина отыскивала нужную дверь, перед которой сидели двое мужчин, и спросила, кто из них последний.

– Я последний, – буркнул пожилой мужичонка в засаленном пиджаке и потертых джинсах и окинул Зину быстрым, цепким взглядом.

Зина кивнула и присела на соседнюю банкетку. Дядечка еще раз посмотрел на нее и теперь уже не спешил отводить взгляд. Выглядел он отвратительно: седая грязная щетина на впалых щеках, тусклый, подслеповатый взгляд, грязные, неухоженные ногти на сухих, жилистых руках. Зине стало неловко, она достала из сумочки книгу и попробовала читать. Пробежала две страницы, краем глаза наблюдая за дверью кабинета. Вскоре она отворилась, из нее вышла старушка под руку с мужчиной лет сорока, который странно поводил головой и подергивал той рукой, за которую держалась старушка, отчего женщина вздрагивала и еще крепче цеплялась за рукав. Очередной пациент проскользнул в кабинет, старушка с мужчиной проковыляла перед Зиной, и девушка услышала дребезжащий старческий голосок, скорее полусшепот:

– На старости лет позоришь мать-то... Сам не мог прийти, что ли? Обязательно надо было, чтобы участковому сообщили? Вырастила сыночка, называется, спасибо тебе!..

– Уймись ты, мать, – ворчал сиплым, пропитым голосом сын. – Нужна ты участковому, дел у него, что ли, больше нет, как меня пасти? Сказал врачу, что буду ходить, значит, буду. Так и скажи фараону своему.

Зина проводила их тяжелым взглядом и вспомнила мать. Она вздохнула и снова почувствовала на себе пристальный взгляд. Обернулась – назойливый дядечка по-прежнему, нагло усмехаясь, смотрел на нее в упор.

– На учет вставать? – спросил он и, как ей показалось, подмигнул.

– Ошибаетесь, – сухо отрезала Зина и отвернулась.

– Да ты не бойся, – не унимался тот, видимо, не поверив девушке. – Это ничего. Совсем не больно. Поставят, будешь раз в месяц приходить и отмечаться, что вроде как трезвая. Я вот каждый месяц хожу. Потерплю денька три до прихода, отмечусь – и опять загулял. Красота! Врач даже и не подозревает, что его водят за нос. Видит – трезвый, и так полтора года уже, похвалил даже, с учета скоро снимет. Здорово, да? Так что не переживай... А если хочешь вот, я подожду тебя, отметим вместе этот факт, а?

– Какой такой факт? – гневно блеснула глазами Зина.

– Ну как какой? Факт приписки к нашему сообществу. Теперь ты самый заправский, всамделишный алкоголик.

– Да как вы смеете! – выпалила Зина и вскочила с банкетки. – Незнакомому человеку!..

– Да будет тебе! Я таких незнакомых за версту вижу. И чего ерепенишься-то? Спасибо сказала бы. Я бы тебя подучил, что и когда говорить врачу...

Но Зина уже не слышала его и стремглав летела к регистратуре. Задыхаясь от гнева, она рассказала о произошедшем дежурившему на входе милиционеру.

– Опять Чебыкин колобродит! – покачала тот головой и встал. – Вы не волнуйтесь, подождите в регистратуре, я сейчас все улажу. Мария Викторовна, пусть девушка у вас побудет пока, – и он направился к пятому кабинету.

Зина вошла в регистратура и встала за дверью. Вскоре послышалась возня в коридоре и приближающиеся голоса.

– Да ничего я не говорил такого! – громко доказывал Чебыкин. – Просто совет хотел дельный дать. Подумаешь, обидчивая какая! Краля неписаная! Узнает еще, как опытными людьми пренебрегать!..

– Выходи побыстрее! – подталкивал его милиционер. – Всем уже плешь проел!

– Могу и не ходить! Могу не ходить, – радостно частил Чебыкин. – Сами же велите являться. Мне-то что...

– Выходи! – милиционера подтолкнул Чебыкина к выходу, распахнул дверь и мягко выпроводил его на улицу. – Придешь завтра с утра. Доктора я предупрежу.

– Делать мне разве нечего? Таскаться сюда каждый день! – голосил Чебыкин.

– Не придешь сам – участковый приведет. На сегодня свободен! – отрезал милиционер и захлопнул дверь.

Он подошел к регистратуре и сказал Зине:

– Проходите, девушка, скоро, кажется, ваша очередь.

Зина поблагодарила и пошла к кабинету. Из него вышел тот, кто был перед Чебыкиным, и девушка робко переступила порог:

– Разрешите?

– Входите!

Старичок-доктор пригласил Зину садиться. Она некоторое время молчала, не зная, с чего начать, а потом ее прорвало. И в течение получаса она рассказывала доктору обо всем, что наболело в душе, что усиленно искало выхода и, увы, не находило его.

– Его надо определять в ЛТП, – выслушав Зину, сказал доктор. – Возьметесь за оформление бумаг?

– Но каких? Я ничего не знаю, – ответила Зина.

– Я вам все расскажу, – улыбнулся доктор.

Через час, успокоенная и обнадеженная доктором, Зина возвращалась домой. Но время от времени воспоминание о грязном мужичонке на банкетке в диспансере почему-то смущало и тревожило ее. Зина, наученная книгами, привыкла в каждом почти явлении видеть предзнаменования и символы, и теперь никак не могла понять значение этого образа. Но за последующими хлопотами и сборанием справок на отцовской работе этот образ постепенно поблек, а потом и вовсе исчез.

Через два месяца усилиями Зины отца определили в лечебно-трудовой профилакторий, и они с матерью вздохнули облегченно. Перед отъездом отец бранился на дочь:

– У, стерва! Отца родного сгнобила, тварь! Погоди еще, отольется тебе! – но на Зину эти угрозы не производили ровно никакого впечатления, тем более что отец был на редкость трезвым, а значит, совершенно безопасным.

Мать, правда, тоже немного сердилась на дочь, дулась на нее и то и дело попрекала, но, привыкнув к спокойной жизни, мало-помалу простила ей.

Весной Зина успешно окончила школу, а летом легко поступила в педагогический институт. А когда она уверенно сдала первую сессию, пришла новая радость: в отстроенном на окраине села девятиэтажном доме им дали просторную двухкомнатную квартиру. Впрочем, это уже было и не село вовсе, а новый район столицы. Быстро собрали и перевезли нехитрые пожитки. Зина добавила свою первую стипендию, и новую квартиру обставили скромно, но уютно. До возвращения отца оставалось еще больше года, и мать с дочерью наслаждались тишиной и покоем.

Через два месяца пришло известие, по-разному воспринятое в семье. Во время погрузки лесоматериалов на баржу из-за нарушения бригадиром техники безопасности погиб отец: слабо закрепленные стропы лопнули, и огромные бревна, падая с пятиметровой высоты, погребли под собой такелажника Гвоздева. Дежуривший на погрузке врач, проведя первичный осмотр, только сокрушенно вздохнул и беспомощно развел руками.

Мать несколько дней не ходила на работу, лежала на кровати и плакала. Зина как могла утешала ее, хотя понимала, что самый лучший лекарь – это время. А пока выполняла за мать всю несложную работу по дому: стирала, готовила, делала уборку, готовя квартиру к похоронам.

Вскоре тело отца привезли и поставили в обитом красной тканью недорогом гробе посреди прихожей, так что пройти в квартиру стало проблематично: нужно было бочком про-

тискиваться мимо покойника, а двум-трем знакомым, приглашенным на поминки, и вовсе приходилось втягивать необъемные животы, чтобы успеть занять место за поминальным столом. Эти двое-трое были приятелями отца, такими же, как и покойный, выпивохами и матерщинниками. Но сейчас они попритихли, подобрались, напустили на себя по возможности скорбный вид и косноязычно лепетали матери неловкие слова соболезнования. Остальных гостей было человек восемь: соседи, брат матери дядя Петя, бригадир отца Семен Карпович.

В кухню столько людей не поместилось бы, и стол установили в большой комнате. Гости чинно расселись, приличия ради помолчали, не притрагиваясь к посуде и дожидаясь слов хозяйки. Наконец мать, укутанная по глаза в черную косынку, поднялась и дрожащим голосом пригласила дорогих гостей помянуть погибшего Николая. Умолкнув, мать всхлипнула, уткнулась лицом в носовой платочек, села и громко разрыдалась. Дядя Петя обнял ее за плечи, успокаивая. Набравшись сил, мать сказала сквозь слезы:

– Кушайте, не обращайтесь внимания, – и гости, понемногу оживившись, зазвенели стаканами и вилками.

К концу обеда трезвыми за столом оставались только мать и Зина. Бригадир Семен Карпович, утешая мать, громко рассказывал ей о профессиональных достоинствах мужа, о том, что никто так точно и красиво, как покойный, не умел разделать говяжью тушу. «Товарно, главное – товарно!» – все умилялся он. Мать, утирая слезы, кивала ему, опустив в пустую тарелку безнадежный взгляд.

«К чему это все теперь? – глядя на бригадира, думала Зина. – Лучше бы выделили матери материальную помощь от работы, а то вон последние копейки пришлось за похороны заплатить. Теперь деньги только будут через месяц, не раньше – мамина зарплата и моя стипендия».

Когда провожали гостей, Зина в прихожей все это и сказала бригадиру – без обиняков, не стесняясь.

– Это, конечно, дело возможное, – пряча глаза в пол, пробормотал непослушными губами набравшийся Семен Карпович и поспешил удалиться.

«Сказано – забыто. Разве вспомнит, когда протрезвеет?» – грустно улыбнулась Зина, однако через неделю мать вызвали в универсам и выдали материальную помощь – двадцать рублей.

– Доживем, доченька? – спросила мать, откладывая деньги в платяной шкаф.

– Чего же не дожить, мама, – согласилась Зина, – мы с тобой деликатесов не потребляем.

У меня скоро стипендия.

– Да и у меня зарплата вот-вот, – добавила мать.

– Видишь, как здорово, – Зина обняла мать. – Ты давай успокаивайся, впереди у нас целая жизнь.

Мать знала, что дочь не любила отца, и, уразумев намек Зины, хотела было снова надуться, но передумала, в душе согласившись с нею.

«А ведь и правда, – решила мать. – Мертвым – земля пухом, а живым жить надо. Особенно ей. Она у меня вон какая домовитая», – улыбнулась она, глядя на дочь, накрывавшую на стол.

Постепенно мать оттаяла, снова стала ласковой с дочерью, и в квартире Гвоздевых, казалось, навсегда воцарились покой и тишина.

Зина училась уже на пятом курсе, когда мать собралась на пенсию.

– Устала я очень, Зина, – жаловалась она дочери. – Руки уже отваливаются. Как ты посмотришь, если я оставлю работу?

– Конечно, мама, – тут же, ни секунды не раздумывая, согласилась Зина. Она и сама уже несколько месяцев видела, что матери все труднее и труднее рано вставать и собираться на работу, до которой никаким транспортом не добраться, а приходилось идти пешком километра

два. Два туда, два обратно – где ж набраться таких сил женщине, которой недавно перевалило за пятьдесят?

– Отдыхай, мама, – еще раз сказала Зина. – Как-нибудь проживем. Скоро я получаю диплом, устроюсь на работу, проживем.

– Тебе ведь тоже век не сидеть одной, – издалека начала мать, и Зина, прекрасно понимая, о чем та говорит, категорично ответила:

– Если ты о замужестве, то пока такого вопроса на повестке дня не стоит. Надо хорошую работу найти, заявить о себе, достичь чего-то в конце концов. Я, например, диссертацию хочу написать. Какое уж тут замужество? Семья, дети – всем этим, я уверена, нужно обзаводиться потом, когда сам уже что-то из себя представляешь.

Матери трудно было возражать ученой дочери, и она не стала спорить, напоследок промолвив:

– А то квартира есть, жить где найдется...

– Ты моя хорошая! – рассмеялась дочь, кинувшись обниматься. – Спасибо тебе за предложение, но пока что в своей комнате я буду жить одна. Ладно? – нежно спросила она, чмокнув мать в щеку.

– Твое дело, конечно, но здоровышко-то мое не вечное. Внучат бы понянуть.

– Я гарантирую тебе еще несколько десятилетий полноценной жизни, дай только начать работать, – успокоила ее Зина. – А за внучатами дело не станет. Если ты так настаиваешь, в ближайшие пять, – она призадумалась, – нет, семь лет я подарю тебе очаровательного пупсика. Будешь его купать, пеленать, тетешкать. К тому же просто так, с бухты-барухты замуж ведь не выходят, – вполне серьезно добавила она.

Зина, в отличие от многих ее однокурсниц, ни с кем не дружила, хотя ей пошел уже двадцать второй год. В то время когда подружки отправлялись на танцы или в кафе, она предпочитала посидеть в библиотеке и просмотреть две-три полезные книжки. Она и впрямь никого еще не любила, а многочисленные заискивания и даже откровенные намеки сокурсников (Зина и вправду была миленькой) она спокойно игнорировала, не закатывая истерик и не впадая в морализаторство. Просто отвечала очередному искателю двумя-тремя вескими фразами, и у того раз и навсегда пропадало всякое желание возобновлять свои амурные поползновения. Это отнюдь не означало, что ей вообще никто не нравился. Но Володя Калугин, учившийся на курс старше нее, в прошлом году окончил институт, работал учителем в подмосковном Одинцове и, судя по слухам, счастливо женился и уже стал отцом.

Так что все свое свободное время Зина уделяла учебе: пропадала в библиотеках, делала выписки, вчерне набрасывала дипломную работу. К тому времени она успела полюбить произведения Андрея Белого и Федора Сологуба и захотела заниматься изучением их творчества. Ее научным руководителем был историк русского *Fin de siècle*,⁵ знаток Серебряного века, заведующий кафедрой теории литературы профессор Константин Генрихович Швец, и Зина с увлечением взялась за предложенную им тему: «Поэтика грез и сновидений в прозе Федора Сологуба». Зина составила план, содержание глав, сделала выводы, написала заключение и представила эти наброски Константину Генриховичу. Тот одобрил, и девушка, окрыленная первым успехом, начала работать.

Сдав последнюю сессию в конце января, она уже закончила черновой вариант дипломной работы и отдала рукопись знакомой машинистке. Константин Генрихович просмотрел машинопись и одобрил основные положения работы. Посоветовал включить несколько цитат из трех-четырех публикаций.

⁵ *Fin de siècle* (фр. «конец века») — обозначение периода 1890—1910 годов в истории европейской культуры. В России более известно как Серебряный век.

– Времени у вас предостаточно, – улыбнулся он. – Давайте договоримся, что к концу марта вы мне сдадите окончательный вариант диплома, чтобы за оставшиеся до защиты два месяца я смог внимательно его прочитать и подкорректировать недочеты, если таковые будут. Впрочем, ничуть не сомневаюсь, что если они и будут, то очень незначительные. Успеха!

Защитилась она с блеском, и даже оппоненты вынуждены были поставить ей «отлично». Константин Генрихович по своим связям добился того, что дипломная работа выпускницы Гвоздевой была опубликована в солидном научном журнале.

– Ну что, голубушка, вам прямая дорога в науку, – сказал Зине руководитель, поздравляя ее. – Хотите?

От волнения Зина не знала, что и сказать. Она густо покраснела и не сводила с него восхищенных глаз.

– Задумайтесь хорошенько, – продолжал Константин Генрихович. – Я попытаюсь пробить место на кафедре. Станете ассистентом, преподавателем. Защитите кандидатскую, будете старшим преподавателем. А там и до докторской недалеко. Интересная научная карьера вам обеспечена. Соглашайтесь, – добавил он и пристально посмотрел ей в глаза.

– Н-н-не знаю... Все неожиданно как-то, – едва выдавила Зина и растерянно повела плечами. – Тут не может быть случайности. Что из того, что мой диплом так всем понравился? Может, дальнейшие работы и не получатся совсем?

– От случая в нашем деле и правда, многое зависит, – подтвердил Константин Генрихович. – Но почему вы думаете, что впредь у вас никогда не будет таких счастливых, богодухновенных случайностей? И к тому же не стоит забывать Пушкина: «Случай – бог-изобретатель». Каждая работа – такое вот изобретательство, интересное, неожиданное. С опытом каждая последующая работа будет писаться легче, увереннее...

– Однако тот же Пушкин добавил: «Опыт – сын ошибок трудных», – съязвила Зина.

– Ловко, – рассмеялся Константин Генрихович. – Сдаюсь. Судя по тому, что классики у вас в крови, что вы ими, можно сказать, так и брызжете и жизни своей без них не представляете, смею заключить, что вы согласны?

– А что? Может, и соглашусь! – неожиданно даже для самой себя ответила Зина.

– Вот и славно! – обрадовался Константин Генрихович. – Поверьте, школа – это, конечно, хорошо, это благое дело, – затараторил он, пытаясь окончательно убедить девушку. – Но через два-три года, поверьте, вы благополучно забудете все то, чему вас учили в вузе, и погрузитесь в обыденное, рутинное повседневное отбывание повинности. Нет-нет, есть, разумеется, отличные учителя, но сама сущность учительской работы такова, что отбивает не только охоту, но и всяческую возможность научных изысканий. Ну хотя бы источники взять. Где вы, скажите, будете начитывать фактуру? В библиотеке Орехова-Зуева? В Можайске? А я предлагаю вам остаться в Москве, где вам будет открыт доступ в любые лучшие библиотеки и архивы. К тому же стоит забывать, например, о заграничных командировках. Кстати, как у вас с иностранными языками?

– В школе я неплохо занималась немецким, в институте хорошо пошел английский, – ответила Зина.

– Прекрасно! Не знать иностранные языки – для филолога непозволительная роскошь. При желании можно подтянуть языки самостоятельным штудированием научной литературы...

– Я всегда любила заниматься в библиотеках, – кивнула Зина.

– И это самое приятное занятие на свете, смею вас уверить! – подхватил Константин Генрихович. – На сегодня простимся, подумайте еще раз хорошенько, хотя хочу надеяться, что вы не измените своего решения. Позвоните мне, например, послезавтра. И тогда я начну пробивать местечко на кафедре. Для начала можно будет вести семинары по теории литературы. У меня, к сожалению, не всегда есть время для практических занятий со студентами.

Вечером Зина рассказала все матери, и радости женщины не было предела.

– Ты согласилась, надеюсь? – спросила мать.

– В общем-то да, – неуверенно сказала Зина.

– Что значит «в общем-то»? – удивилась мать. – Хочешь отправиться в область?

У Зины мелькнула мысль, что в области живет и работает Володя Калугин, и она на секунду представила, что, возможно, и ее могут направить в Одинцово, и тогда...

«Да нет, глупости! Что «тогда»? – одернула себя Зина. – У него семья, да он наверняка и не знал о моей... о моем чувстве к нему... Форменные глупости!»

– Да согласна я, мама, согласна, – твердо сказала она.

– Ты у меня молодец, – мать кинулась обнимать дочь. – Ты такая трудолюбивая, свое высшее образование ты получила сама. У тебя все впереди. И к тому же со мной останешься, а то как же я ревела украдкой, представляя, что ты покинешь меня!

5

Через два дня Зина позвонила Константину Генриховичу и сказала, что хорошенько все обдумала и согласна на его предложение. Профессор обрадовался и пригласил ее в ресторан. «Надо же отметить такое судьбоносное решение», – мотивировал он свое предложение.

Зина обескуражено замолчала, чувствуя, как рука, державшая телефонную трубку, покрывается мелкими капельками пота. Профессор тоже молчал, только едва слышно дышал в трубку.

Молчание затягивалось, и Константин Генрихович первым нарушил его:

– Ну так что? – мягко, но настойчиво спросил он. – Обещаю роскошный стол в «Праге». Соглашайтесь, Зина. Надо привыкать: в перспективе у вас немало торжественных застолий. За рубежом привыкли угощать.

Молчание показалось бы невежливым, но Зина не знала, что и сказать. А потому выпалила первое, что пришло в голову:

– Но у меня нечего надеть! Да я никогда и не была в ресторанах.

– Вот я и говорю: надо начинать! – Швец был непреклонен. – Насчет платья не беспокойтесь. Давайте заглянем к моему портному, он снимет мерку и за несколько часов pošлет вам прекрасный наряд.

– Вы знаете... – замялась было девушка, но Константин Генрихович снова взял инициативу в свои руки:

– Если вы о деньгах, не стоит волноваться. Это будет моим вам подарком.

– Но в честь чего? – искренне удивилась Зина.

– В честь того, что сегодня вы выбрали верный жизненный путь. – И потом, могу ведь я побаловать моих самых талантливых учеников. Согласитесь, без таких маленьких радостей жизнь была бы обыденной и скучной – и моя, и ваша. Разве я не прав?

Зина не стала возражать, что ее жизнь если и была, как он выражается, обыденной, то уж скучной ее в любом случае назвать никак нельзя. Не хотелось вдаваться в подробности, да и вряд ли он понял бы ее.

«Наверняка ведь он не рос в таких условиях, – подумала она, – не знает, что такое отец-пьяница и загнанная, уставшая мать».

– Хорошо, Константин Генрихович, я согласна, – ответила она. – Только фасон и цену платья, с вашего позволения, я выберу сама.

– Уговорили. Тогда через час встречаемся у входа на факультет, – донеслось с другого конца провода, и Зине показалось, что голос Константина Генриховича уже не был голосом ее преподавателя и научного руководителя. – Я буду на машине, сразу же поедem в ателье.

Ателье профессора Швеца находилось в одном из переулков в районе Тверских улиц. Они вышли из автомобиля – новехонькой «шестерки», – вошли в обычный подъезд старинного жилого дома и дождались лифта, который профессор отправил на шестой этаж.

– Разве мы не в ателье? – удивилась Зина.

– Собственно говоря, он, как бы вам сказать, шьет на дому. Только я попрошу вас никому об этом не распространяться, хорошо?

Девушка согласилась, и вскоре они оказались в просторной квартире, где повсюду были расставлены гладильные доски, развешены клеенчатые метры, валялись обрезки тканей и кожи и почему-то пахло парикмахерской.

В ответ на вопросительный взгляд Зины профессор пояснил:

– Здесь еще и подстричься можно. Модно и недорого. Хотите?

– Подумаю, – скромно ответила Зина.

Профессора и его спутницу встретил невысокий пожилой человек с гладко зачесанными назад волосами цвета «баклажан».

«Вот диво-то! – опешила Зина. – А я думала, что так только женщины красятся!»

– Евгений Ипатьевич, – поздоровался с модельером, Швец. – Вот этой очаровательной девушке надо пошить что-нибудь модное. Она сама вам скажет, что ей хочется.

– С удовольствием, Константин Генрихович, – слегка поклонился модельер и с улыбкой обратился к Зине:

– Что хотите?

– Не знаю, видели ли вы платья Нормы Камали,⁶ – неуверенно начала Зина, вспомнив имя известного модельера, вычитанное в «Журнале мод». Вообще-то она изо всех сил старалась показаться сведущей и произвести должное впечатление, в то время как сама тряслась от страха.

– Конечно, – снисходительно улыбнулся закройщик. – Вам какой фасон – спортивный, романтический?

– Такой... трикотажный... с большими подплечиками... – запинаясь Зина, опасаясь, чтобы закройщик не углублял тему, в которой она была профаном.

– Понимаю, – все так же улыбаясь, ответил модельер. – Фасон, соединяющий, скажем так, спортивные и романтические мотивы в стиле ретро? Я вас правильно понял? – и он быстрыми, уверенными движениями набросал на ватмане, прикрепленном к верстаку, силуэт платья.

– Да-да, именно такой фасон, – согласилась Зина. Она сейчас согласилась бы на что угодно, лишь бы прекратилась эта пытка, и тем приятнее было то, что модельер понял ее с полуслова.

– Какого цвета?

– Темно-вишневого.

– Пройдите к свету, я сниму мерку, – Евгений Ипатьевич пригласил Зину в большую, щедро залитую солнцем комнату и сноровисто начал елозить по ней гибким метром, записывая промеры в блокнотик. Иногда его быстрые пальцы едва касались Зининого тела, и девушка невольно вздрагивала – так неожиданны были ей прикосновения чужого мужчины к ее спине, груди, животу.

– Вот и все, готово, – сказал модельер, приветливо улыбаясь красивыми, ровными зубами.

– Так быстро? – поразила Зина.

– Смею вас уверить, что платье будет готово еще быстрее, – поклонился Евгений Ипатьевич. – То есть фигурально выражаясь.

– Это... недорого? – поинтересовалась Зина.

⁶ Норма Камали (Норма Арраэс, родилась в 1945 году) — американский дизайнер одежды.

– Евгений Ипатьевич с нас дорого не возьмет, – поспешил успокоить ее Швец. – А платье действительно будет готово очень быстро. Когда нам прийти, Евгений Ипатьевич?

– Сейчас, – модельер взглянул на часы, – половина второго. – Значит, где-то без четверти пять, устроит?

– Вполне, – кивнул профессор, и они с Зиной вышли к лифту.

– Как он точен! – вырвалось у девушки.

– Профессионал, – ответил со значением Константин Генрихович. – Не хотите до назначенного времени съездить в деканат?

– Зачем? Ведь распределения еще не было, – удивилась Зина.

– Да я не про распределение, – улыбнулся Константин Генрихович. – Я про себя скорее. Надо подать прошение о вас.

– Прощение? – Зина по-прежнему ничего не понимала.

– Ну понимаете, – благосклонно пояснял профессор. – Чтобы вас оставили на кафедре, нужно мое ходатайство. Вот и я хотел заехать в деканат и подать такое ходатайство.

– А от меня что требуется?

– Ровным счетом ничего. Просто подождать меня в машине. Или, если хотите, поднимитесь со мной. Впрочем, это вовсе не обязательно, вас и так все прекрасно знают. С лучшей стороны, между прочим.

Зина покраснела и промолвила:

– Спасибо вам, Константин Генрихович, большое. Не знаю, как и благодарить вас. Я пока еще не зарабатываю...

– Ну, а вот это бросьте, – перебил ее Швец. – Ни к чему, знаете ли, меня обижать. Я от чистого сердца желаю вам интересной, достойной жизни и счастья.

– За что же, Константин Генрихович? – тихо спросила Зина.

– За головку вашу умную, за характер упорный, творческий. Это самое первое и простое, что просится на язык умудренному профессору, пожалуй, впервые на своем научном веку до такой степени ошеломленному достижениями своей ученицы.

И они поехали в институт. Пока профессор оформлял документы, Зина ждала его в машине. Вспоминала все случившееся за минувшие два дня и никак не могла поверить в перспективы, которые сулил ей Швец. Но верить хотелось, и Зина, закрыв глаза, постаралась представить многолюдные студенческие аудитории, внимающие каждому ее слову, и себя, молодую и красивую, на кафедре престижного вуза. Пыталась – и не могла: она никак не могла предположить, что ее, вчерашнюю выпускницу, по сути студентку, будут слушать ее сверстники, такие же двадцатидвухлетние парни и девушки, как она сама. Да и что такого особенного она может им передать?

«Нет, вряд ли, конечно, мне сразу доверят преподавать на старших курсах, – успокаивала она себя. – Для начала, видимо, поручат вести семинары по введению в литературоведение для первокурсников. Это уже проще, как-никак за плечами защищенный диплом по теории литературы. Да и Константин Генрихович наверняка поможет, даст необходимые пособия, посоветует, с чего начать. Так что ничего страшного!»

Зина открыла глаза и увидела спешащего к машине Швеца. Он широко улыбался и еще издали помахивал какой-то папкой в руке.

– Декан одобрил мое ходатайство, – сообщил он, усаживаясь на водительское кресло. – Теперь отнести его к ректору, и через пару недель можно ждать результата.

– А если ректор... – начала и запнулась Зина.

– Пустяки, – поспешил успокоить ее Константин Генрихович. – Роман Гаврилович, мне кажется, хорошо ко мне относится. По крайней мере, надеюсь, что хорошо. Так что, тьфу-тьфу, – он постучал по пластиковой приборной панели, – считайте, что дело выгорело. Ну что, едем?

– Прямо сейчас? – вздрогнула Зина. Перспектива оказаться в роскошном ресторане ее, никогда не бывавшую даже в кафе, очень пугала.

– А почему бы нет? – улыбнулся профессор. – Рестораны работают с двенадцати. Или вы предпочитаете вечером, когда музыка и многолюдно?

– Нет-нет, – выпалила она. – Давайте уж сейчас.

– Точно? – Константин Генрихович мягко, подбадривающее улыбнулся и выжидающе смотрел на нее.

– Точно! – категорически выпалила она и попыталась тоже улыбнуться, но улыбка вышла неловкая, и Зина покраснела и отвернулась к окну.

– Мне понятно ваше смятение, но смею вас уверить, что в данном случае оно совершенно не адекватно ситуации. Мы с вами выберем отдельный столик, где-нибудь у окна. Будем смотреть на Арбат и спокойно беседовать. Если я вам, конечно, не надоел за время учебы, – и он еще раз обворожительно улыбнулся.

– Не надоели, Константин Генрихович, – оправившись, наконец, от смущения, ответила Зина и тоже улыбнулась.

– Вот и прекрасно, – кивнул Швец и включил зажигание. – Столик я уже заказал. Вы какую кухню любите?

– То есть? – не поняла Зина.

– Ну, кухню каких стран – арабскую, узбекскую, итальянскую, французскую?

Надо было что-то отвечать, но Зина чувствовала, что все мысли покинули ее. Котлеты на пару да окрошка на кефире – вот, пожалуй, все деликатесы, которые ей довелось отведать в родительском доме. Боясь, что покраснеет еще гуще, Зина брякнула первое, что пришло в голову:

– Я предпочитаю русскую, – и действительно покраснела.

Швец, кажется, совсем не заметил очередного смущения девушки и даже поддержал ее:

– Мы с вами солидарны. Ничего вкуснее настоящего холодца и добрых котлет по-киевски я тоже не едал. Добавим сюда что-нибудь из салатного ряда – у них это превосходно. Как насчет напитков?

Из книг и по рассказам однокурсников Зина знала, что в ресторанах принято пить крепкие напитки, но сейчас, после вопроса Швца, перед ней вдруг отчетливо встал покойный отец, как всегда, пьяный и грубый. Он посмотрел в глаза дочери, хотел что-то сказать, но не смог, а только икнул и смачно сплюнул в сторону. Это видение не посещало Зину уже давно, и она невольно вздрогнула. Профессор, хотя и смотрел на дорогу, успел заметить это движение собеседницы. Однако причина такой реакции осталась ему не понятной, и он первым делом подумал, что как-то неловко обидел девушку. Тем более что она молчала, опустив глаза на свою сумочку, лежавшую на ее коленях.

– Если хотите, можем ограничиться соками. Квас у них неплохой, – осторожно сказал он, пытаясь снять напряженную паузу.

– А что есть в ресторанах? – Зина резко подняла голову, но смотрела не на профессора, а на дорогу. – Я имею в виду – из крепких напитков?

– Ну, все что захотите, – Швец облегченно вздохнул и наперебой стал перечислять: – Вина различные, шампанское, водка, коньяки, виски, бренди... В «Праге» подают отменное чешское пиво...

– Шампанское, – перебила его Зина. – Я люблю шампанское.

Никакого шампанского, как и вообще крепких напитков, Зина в своей жизни никогда не пробовала, но посчитала, что шампанское – самый безобидный напиток, который позволительно попробовать девушке за обедом с посторонним мужчиной.

– Договорились, будем пить шампанское, – согласился Швец. – У них самое настоящее «Советское». С бывших императорских заводов. Вы какое предпочитаете – сухое, полусладкое?

– Полусладкое, – ответила Зина. Ей помогли книги: в классических романах, запомнила она, дамы пили именно такое шампанское. То есть, наверняка они пили и что-то еще, но знание, не подкрепленное личным опытом, не отложилось в голове девушки, тогда как шампанское в Москве продавали во всех хороших гастрономах.

– Bravo! – не удержался Швец и хлопнул рукой по баранке. – Да у нас с вами идентичные вкусы! Нас ждет роскошное пиршество! Но пора, пора захватить за вашим платьем!

В огороженной ширмочкой примерочной Зина надела новое платье и в зеркале не узнала себя. Кем угодно могла она себя представить: учительницей, продавцом, даже стюардессой на международных линиях, но вот чтобы выглядеть настоящей принцессой – об этом она и думать не смела. А сейчас из зеркала на нее смотрела ни больше ни меньше сама принцесса Монако Каролина Гримальди, фотографию которой она тоже увидела в журнале мод.

– Можно к вам? – слегка постучал Швец в стойку ширмы.

– Да, конечно! – отозвалась Зина, и расплывшееся в улыбке лицо профессора показалось между картонных створок. – Как замечательно! Наш Евгений Ипатьевич – настоящий кудесник! Вам-то нравится?

– Спасибо вам! – зарделась Зина.

– Не надо, умоляю! – Швец прижал обе руки к груди. – Красота должна и одеваться как красота. Однако нам пора в ресторан!

Он рассчитался с портным, и они с Зиной спустились вниз, к машине.

Профессор был прав. В ресторане им на самом деле подали вкуснейшие, свежие кушанья: горячие Пожарские котлеты, телятину «Орлов», студенистый холодец с ледком и хреном, фаршированные баклажаны, бруснику во льду.

– Вот вы знаете, что такое, например, пожарские котлеты? – приглашая Зину отведать кушанья, спросил Швец. – То есть, собственно говоря, почему они называются именно Пожарскими?

– Что-то связанное с князем Пожарским, освободителем Москвы? – неуверенно предположила Зина, разрезая баклажан.

– С графом, Зина, с графом, это уже девятнадцатый век, – отрезав кусочек дымящейся котлеты, Константин Генрихович отправил его вилкой в рот. – Тут, впрочем, ситуация, видимо, анекдотическая, поскольку есть несколько версий. И не все они о графе. О графе только одна, вернее, о его поваре, который якобы впервые приготовил котлеты из фарша птицы и хлеба. Где-то я вычитал, что когда к графу приехал кто-то из августейшей фамилии и на кухне не нашлось телятины, граф, велел повару срочно нарезать индейку и быстро сделать из нее котлеты. Другая версия говорит о некоей Дарье Евдокимовне Пожарской, которая владела трактиром в Торжке. Это про нее писал Пушкин Соболевскому: «На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке»...

– Что касается Пушкина, – улыбнулась Зина, – то я в восторге от того, как он изобразил Татьяну в конце романа. Она безупречно владеет собой, одновременно и подчиняется этикету, и остается собой...

– Не правда ли? – восторженно воскликнул Швец, наполняя бокалы. – И вообще Пушкин испытывает глубокую симпатию к своей героине, ставит ее гораздо выше – нравственно выше, я имею в виду, – мужских персонажей романа, более того – окружает ее каким-то ореолом грусти и достоинства... Ну что, за первый ваш успех? – он протянул Зине бокал, в котором успокаивалось, шипя и потрескивая, янтарное шампанское.

– Спасибо вам за все, Константин Генрихович, – Зина взяла бокал и осторожно пригубила. Свежий напиток приятно, ненавязчиво пробежал по языку, мелкими иголочками засвербел в гортани.

– Сладко как! – невольно улыбнулась Зина. – И в нос, и в глаза... – она вынула носовой платок и поднесла к лицу.

– Угощайтесь, Зина, – профессор широким жестом обвел стол и активно принялся за котлету. – И не благодарите меня, умоляю. Я просто сделал то, что на моем месте сделал бы любой ученый. Нельзя ведь таланту пропадать втуне. А вы талант. Не возражайте, талант!

Зине стало неловко от похвал Швеца, и она еще раз отхлебнула из бокала. Этот второй глоток показался ей слаще первого, и вслед за ним Зина отпила еще, потом еще.

– За ваши успехи, – поддержал ее Константин Генрихович, – отпивая из своего бокала.

Поставив пустой бокал на стол, Зина решила, что надо поесть. Покончив с баклажаном, она принялась за котлету, потом отведала телятины. Швец еще раз наполнил бокалы. Они выпили, и вскоре Зина вдруг почувствовала, что кто-то невидимый будто приподнимает ее со стула и начинает медленно вертеть из стороны в стороны. Она попыталась сосредоточиться, увидеть этого невидимого, но не смогла: голова закружилась, как после детской игры в жмурки, когда внезапно срываешь повязку с глаз и не можешь устоять на ногах. Она жутко испугалась, кроме того, кинувшийся в лицо жар буквально ослепил ее, и Зина закрыла глаза. Через несколько секунд кружение прошло, но она боялась развести веки, чтобы не повторился этот кошмар.

– Что с вами, Зина? – как издали, донесся до нее голос профессора.

– Мне кажется... кажется... с меня довольно... – не открывая глаз, она кое-как совладала с непослушными губами, потом снова замолчала, опасаясь, как бы мускульные движения не спровоцировали нового головокружения.

– Если хотите, поедем, – как будто во сне, прозвучал голос Швеца.

Она кивнула и почувствовала, как он берет ее под локоть, крепкими руками помогает подняться, ведет к выходу. Она осмелилась открыть глаза. Расплывающийся, как в мареве, зал, едва заметное мерцание люстр, под ногами – плывущая зыбь. Она споткнулась на высоком каблуке и опрокинулась на руку профессора.

– Ну, милая коллега, – звучал у нее над ухом его мягкий, бархатный голос, и от этого ей было спокойнее. – Не иначе, это вы от сегодняшних впечатлений так расслабились. Впрочем, ничего страшного, день для вас действительно был удачным. Сегодня отдохнете, а завтра я отвезу бумаги ректору, и считайте, что вы – ассистентка кафедры.

Зина хотела поблагодарить его, но не промолвила и слова, как погрузилась в забытие. Немного помнила она из того вечера. Помнила какие-то увешанные картинами стены, мягкую постель, свежую прохладу простыней, чье-то жаркое дыхание у своего лица. Где-то на окраине сознания колючим осколочком отозвалась острая боль. Кольнула и затихла...

В ту ночь Зина Гвоздева стала женщиной. Нельзя, впрочем, сказать, что она стала женой своего бывшего научного руководителя, поскольку Константин Генрихович был благополучно женат уже двадцать два года. Справедливость, таким образом, требует сказать, что в ту ночь Зина Гвоздева стала любовницей своего будущего начальника.

6

Она проснулась от дикой головной боли. Такой боли она прежде не испытывала никогда. Захотела определить, где находится, и не смогла: черные круги перед глазами застили перспективу, она видела только смутный контур собственного носа и что-то темное впереди. Мотала головой из стороны в сторону – напрасно, темнота не исчезала, только боль стучалась в мозг еще жестче и острее. Ослабев от напрасных усилий, Зина откинулась на подушку и попробовала что есть силы крикнуть. Но запутались и застряли в горле неуклюжие звуки.

Она испугалась и почувствовала, как холодный липкий пот противной студенистой жижей выступает на груди. Ей почему-то вспомнилось ощущение из детства, когда ей, больной гриппом, всегда были отвратительны такие ощущения и она то укутывалась с головой одеялом, то, задохнувшись собственным горячим дыханием, скидывала с себя пропотевшее одеяло, и тогда волна озноба, тут как тут, снова, как бы обманом, подступала к ее вымученному телу. Поистине, это было невыносимым, и лекарство против этого было одно – время. Добросовестно принимая прописанные врачом таблетки и микстуры, Зина уже к вечеру первого дня болезни чувствовала себя значительно легче, главное – проходила отвратительная потливость, и можно было, высвободив руки из-под одеяла, взять книжку и почитать в свое удовольствие.

Теперь же, она чувствовала, облегчения не предвиделось, по крайней мере, в обозримой перспективе. Она повела рукой вокруг себя, нащупала простыню и теплое одеяло, спряталась под ним от накатывающего озноба. Вскоре стало жарко, холодный пот сменился теплым, не менее противным. Она откинула одеяло, провела рукой вдоль тела и обнаружила, что лежит совершенно голая.

И тут же услужливая память, как на картинке, представила ей все события минувшей ночи – разумеется, в том виде, как их запомнила сама Зина, мало что, впрочем, запомнившая как следует. Но отчетливо вспомнились горячие ласки Константина Генриховича, его жаркое, с легким запахом алкоголя дыхание, а главное, вспомнилась острая, неведомая доселе боль, что на мгновение сладким спазмом сковала низ живота и бедра.

От этого воспоминания Зина, как подброшенная, вскочила на постели. Сейчас нужно было прозреть, во что бы то ни стало прозреть! Не представляя, что следует делать в таких случаях, она лихорадочно терла глаза, виски и скулы и чувствовала, как возвращается недавний холодный пот. Острая боль молнией прожгла голову, Зина замерла с поднятыми руками и слабо простонала. Плевать, главное – увидеть. Она возобновила массажирование. И это помогло. Зрение постепенно выхватывало большую полузатененную гардинами комнату, красивую мебель, слабо пробивавшийся за окнами утренний свет. Постепенно Зина смогла сконцентрировать взгляд на первом предмете, попавшем в поле зрения – на большом телевизоре – и отчетливо различить его грани, цвет, экран и кнопки на панели управления. Еще усилие, и Зина сумела прочесть под экраном: «Рубин Ц-260».

Но не это сейчас интересовало ее. То, что не давало ей покоя, должно было быть где-то на постели, скорее всего, на простыне или на пододеяльнике. Она вскочила с кровати и наклонилась над простыней. Долго искать не пришлось: то, что ее так интересовало, было тут же, чуть пониже середины постели, ближе к ножной спинке кровати. Это было небольшое, размером с пятикопеечную монету, бурое пятно с неровными, как бы рваными краями. Пятно засохло, Зина поднесла к нему руку, осторожно провела по пятну и почувствовала что-то жесткое, заскорузлое. Она брезгливо отдернула руку, и тут другая мысль посетила ее. Так же осторожно, уже наверняка зная результат, но боясь увериться в своей догадке, поднесла руку к нижней части живота, потом медленно, с замирающим сердцем, начала опускать ее по телу все ниже, ниже, пока пальцы, наконец, не наткнулись на то же самое жесткое и заскорузлое чуть пониже лобка.

Ей показалось, что свет снова померк перед глазами. В это не хотелось верить, но это было так. Вихрь мыслей разом пронесся в ее голове, но ни одна из них не удержалась, вытесненная одним-единственным всепоглощающим чувством – чувством горькой обиды. И ту же, словно это чувство было тем самым чувством, которого одного сейчас только и требовало ее истерзанное, замученное неведением сердце, – Зина опустила, как была голой, на край кровати и громко, в рев разрыдалась.

Ее выворачивало наизнанку, плечи и колени тряслись от холода, но у нее не было сил накрыться скомканным одеялом. И вдруг что-то теплое укутало ее спину, запахнуло шерстяным и колючим плечи и грудь. Зина вздрогнула и резко обернулась. Над ней стоял Константин

Генрихович и нежно водил пальцами по ее голове. Из-за слез она не видела выражения его лица, но ей показалось, что он кротко улыбался. Не давая ей первой заговорить, возможно, опасаясь ее гнева, профессор поспешил опуститься рядом с нею, слегка обнял за вздрагивающие плечики и зашептал куда-то в висок торопливые, скомканные слова:

– Глупенькая... я ведь полюбил тебя уже давно... Умница моя... Всю душу мне всколыхнула... Ради тебя... разведусь... дети взрослые... Из партии выгонят... шут с ней... Из института попрут... все тебе оставлю... забот знать не будешь... Родная, печаль моя последняя... Прости!..

Зина попыталась оттолкнуть его от себя, но он так крепко держал ее, что она, сделав два-три неуверенных толчка, вдруг размякла, уткнулась лицом ему в грудь и снова разрыдалась, как никогда не плакала на плече у отца. А он молчал и все гладил и гладил девушку по голове и все теснее и теснее прижимал ее к себе. Он, как и она, тоже знал, что лучший лекарь – время.

В то утро он угостил ее вкусным завтраком, хотя, ослабев от произошедшего, ела она мало и неохотно. Он предложил шампанского, и она не отказалась. А после выпитого бокала все случившееся уже не казалось ей таким мрачным и безнадежным.

«Подумаешь! Ничего страшного, когда-то это должно было произойти, – думала она, потягивая из второго бокала, вслед за первым наполненного Швецем. – Человек-то он порядочный, а что с другим было бы? Ну, подумаешь, женат! Многие так живут и уверены, что благоденствуют... Где, кстати, его жена? Он, помнится, говорил как-то, что она в загранкомандировке... Хорошо живут люди! – она на секунду задумалась и твердо решила: – И я так буду жить! Переломлюсь, а – буду! Не дай Бог, конечно, сделать ради этого что-нибудь некрасивое, постыдное, но тем, что само дается в руки, брезговать не стоит».

И она уже без тени смущения и обиды посмотрела на Константина Генриховича и попросила его налить еще бокал. После второго, заметила она, головная боль начала заметно стихать, на душе стало несуетно, умиротворенно.

Он наполнил третий бокал, предложив выпить за ее карьеру. Она согласилась.

– А какая будет тема у моей кандидатской диссертации? – спросила она, лукаво глядя на Швеца.

– Зиночка, какая угодно, – пережевывая сыр, ответил он. – Например, поэтика смерти в прозе... ну, кого бы назвать... да вот хоть того же Сологуба. С таким фундаментом, как твой диплом, любые горы не преграда. К тому же ты говорила, что он тебе очень нравится.

– Да, особенно «Заклинательница змей», – согласилась Зина.

– А потом, соединив диплом и кандидатскую, можно и книгу выпустить по поэтике Федора Кузьмича, добавив еще две-три главы, – рисовал Швец сладостные перспективы. – Серебряным веком, конкретно Сологубом, на западе мало кто занимается. Так что путь в мировую науку тебе обеспечен.

– Но я надеюсь, что вы мне поможет? На первых хотя бы порах?

– Ну почему на первых? – удивился профессор. – Могу и соавтором такого замечательного исследователя выступить. Вместе на международные конференции будем летать.

– Как вы сразу так далеко, однако...

– Это только кажется, что далеко, ничего не далеко, вот увидишь. А теперь я хочу еще раз выпить, на сей раз на брудершафт.

– Зачем? – не поняла Зина.

– А за тем, чтобы ты никогда больше не называла меня на «вы». Наедине, естественно.

Зина улыбнулась и взяла из рук Константина Генриховича протянутый им четвертый бокал. Голова не болела, удивительная легкость в теле и ясность в голове приятно удивили ее.

– «Ты право, пьяное чудовище. Я знаю: истина в вине!» – процитировала она, допив из бокала.

– Осторожнее, Зина, это только поэзия. В жизни бывает все гораздо серьезнее, – предостерег, впрочем, шутливо, Швец.

– С вами – море по колено... Ой, что это я... С тобой. – Она придвинулась поближе и прошептала ему на ухо: – А как тебя называть?

– А как тебе больше нравится?

– Например, Любимка. Не возражаешь?

– Ну, это только в очень нежных случаях, – лукаво прищурился Константин Генрихович.

– Значит, часто, – язычок у нее развязался, слова лились без всяких мыслей. – Поскольку таких вот, как ты говоришь, нежных случаев я обещаю тебе великое множество!

Она поднялась из-за журнального столика, чуть заметно споткнулась и подошла к нему. Глядя на него сверху, она заметила заметно проступившую лысину не его темени, едва прикрытую зачесанными наверх волосами.

«Ему сорок девять, мне двадцать два, – мелькнула мысль. – Ну и что? А может, я люблю его?» – и она опустила голову и легко поцеловала его в глаза, которые он успел поднять навстречу ее движению. Бросив на ходу: «У тебя ванная там?» и не дождавшись ответа, она вышла в прихожую, потом забралась в ванну и подставила разомлевшее от выпитого тело упругим горячим струям. А когда вернулась в комнату, от подбородка до ног укутанная в огромное бархатное полотенце, с удивлением и одобрением отметила, что Константин Генрихович успел простелить постель и новая простыня манила ее свежим крахмальным блеском.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.